

[Polaris]

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ



ИЗ СТРАНЫ СНОВ

Забытые истории
о привидениях и духах

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

СССХХIV



Salamandra P.V.V.

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИЗ СТРАНЫ СНОВ

Забывтые истории
о привидениях и духах

Составление и подготовка текстов
М. ФОМЕНКО

Salamandra P.V.V.

Возлюбленная из Страны Снов: Забытые истории о привидениях и духах. Сост., подг. текстов и прим. М. Фоменко. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2019. — 257 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCXXIV).

В антологию вошли раритетные произведения западных писателей второй половины XIX — первых десятилетий XX века. Среди авторов читатель найдет как громкие и знаменитые, так и малоизвестные имена.

© Authors, estate, 2019

© М. Fomenko, состав, подг. текста, прим., 2019

© Salamandra P.V.V., оформление, 2019

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ



ИЗ СТРАНЫ СНОВ

[Без подписи]

СОПЕРНИКИ

Веранда, где сидело наше веселое общество, состоявшее из трех мужчин и стольких же дам, была ярко освещена лунной. Одна из дам заставила погасить свечи, утверждая, что лунный свет дает особенное настроение и нам будет приятнее в этом поэтическом освещении. Но вышло то, чего мы не ожидали...

Белая скатерть, освещенная призрачным зеленоватым светом, тени от ливы винограда, обвивавшего веранду, сильный аромат резеды и роз из сада как-то спугнули наше веселье и разговор сделался серьезным. Одна из дам стала рассказывать о призраках и, между прочим, о существующем старинном поверье, что для того, чтобы погубить ненавистного человека, достаточно сделать его восковую фигуру, воткнуть в область сердца иголку и оригинал непременно умрет. Мы были так настроены, что стали серьезно обсуждать это глупое поверье. Мы считали возможным убийство издалека, убийство одним желанием убить.

Я заметил, что один из наших собеседников, инспектор фон Бюндинггаузен, не принимает участия в разговоре и неподвижно смотрит на стоящий перед ним, освещенный лунным светом стакан вина.

— Почему вы так молчаливы, господин Бюндинггаузен? — спросил я. — Вы какого мнения об этом вопросе?

Он сначала ничего не ответил и остался в своей прежней позе. Его резкое худощавое лицо, освещенное лунным светом, сразу показалось мне странно чуждым. Наконец, не поднимая глаз, он заговорил; губы двигались точно сами собой и голос его звучал хрипло.

— Я знаю по опыту, что влияние на расстоянии возможно, — проговорил он.

— Знаете по опыту? Расскажите, мы непременно должны выслушать это от вас.

Лицо его передернулось судорогой.

— Я очень неохотно говорю об этом. Меня это страшно волнует. Но так как, по неосторожности, я сказал слишком много, то вы имеете право узнать еще больше.

Наше любопытство было слишком возбуждено для того, чтобы пощадить его чувства, и мы засыпали его вопросами,

в особенности дамы. Не изменяя своего положения и не отрывая глаз от стакана искрящегося вина, он начал тихим голосом:

— Вам, может быть, известно, что прежде я был офицером. Я был молод, легкомыслен, с малым состоянием и большими долгами, даже слишком большими. Но я о них не заботился. У офицера есть верный способ поправить свои расстроенные дела: это богатая женитьба! По-видимому, счастье особенно благоприятствовало мне в этом направлении: в Берлине я познакомился с одной молодой девушкой и полюбил ее с первого же взгляда. Я любил бы ее, если бы она была бедна, как и я сам, но счастливый случай сделал ее богатой. Вскоре, к моему огорчению, я был переведен в провинцию; она просила писать ей. Если я тогда же не просил официально ее руки, то только потому, что осенью я ждал повышения. В ту же зиму в судьбе моей произошла катастрофа. В один прекрасный день, мой начальник потребовал меня к себе и без всяких вступлений сердитым тоном спросил меня о величине моего долга. Я назвал сумму, не утаив ни одного пфеннига. Моя ссылка на предстоящую помолвку еще больше рассердила его.

— Я не хочу, чтобы мои офицеры продавали себя! — кричал он и, в конце концов, заставил подать в отставку.

Лишиться мундира было очень тяжело, но другого выхода у меня не оставалось. Было ясно, что кто-то оклеветал меня, но я не мог придумать, кто бы это был. У меня был единственный враг, но он жил в Берлине, и у меня не было никаких фактов, оправдывавших мое предположение. Так прошло несколько недель. Меня очень удивляло, что я не получил ответа на два письма от интересовавшей меня молодой девушки, но вдруг я получил известие о ее помолвке с тем самым человеком, которого считал своих врагом! Тогда я прозрел и понял, в чем дело. Это он подстроил так, что я должен был подать в отставку, чтобы самому жениться на моей невесте!

Фон Бюндинггаузен сжал кулаки, и глаза его грозно сверкнули.

— Я никогда не предполагал в себе столько презрения

и ненависти к человеку, — начал он снова упавшим голосом. — С того мгновения, как я узнал о помолвке, мысль о гибели моего соперника сделалась моим единственным желанием. Сначала я хотел застрелить его, как бешеную собаку. Но потом решил вызвать его на дуэль и непременно увидеть мертвым у своих ног..

Я уехал в Берлин, куда прибыл вечером. В этот день уже нельзя было предпринять какие-нибудь шаги для приготовления дуэли. Я не мог заставить себя выйти в столовую и остался в своей комнате. Я весь кипел жадой поскорее убить своего соперника и решил раньше лечь, чтобы собраться с силами на завтра. Я погасил большую лампу и зажег маленькую с зеленым абажуром на ночном столике. Я хотел уже раздеться, как вдруг... увидел его!..

Бюндинггаузен произнес последние слова едва слышным шепотом. Все слушали его с напряженным вниманием.

— Я усидел его не в воображении, — продолжал он хриплым прерывающимся голосом, — не так, как рисовала его моя фантазия, нет, он лежал неподвижно на моей кровати, мертвый, в белом саване, вытянувшись во весь рост... Зеленоватая бледность покрывала его застывшее лицо, веки были сомкнуты. Меня охватил ужас, какого я не испытывал ни раньше, ни после. Я стоял, как парализованный, дыхание спиралось в груди, но взор мой был прикован к телу врага. Он, лишивший меня средств к существованию, укравший мою любовь, не давал мне покоя и здесь, где я хотел отдохнуть перед тем, как убить его! Я чувствовал, что лежавшее передо мной тело — мертво, но мне казалось, что вот-вот он откроет глаза и взглянет на меня, и эта мысль приводила меня в ужас. Я не решался дотронуться до него, чтобы убедиться, что он мертвый, холодный... Я отошел от кровати и странно... контуры лежавшего тела все более расплывались и, наконец, фигура исчезла совершенно. Но охвативший меня страх не проходил. Я чувствовал, что он здесь, близко, и его невидимое присутствие страшило меня больше, чем когда я видел его неподвижную фигуру. Меня тянуло к кровати и, чем ближе я подходил, тем яснее выступало предо мной неподвижное тело. Зубы мои стучали, волосы шеве-

лились на моей голове...

Рассказчик замолчал. Молчание было настолько продолжительно, что, казалось, он не начнет больше рассказа.

— Несколько раз я то подходил к кровати, то отходил от нее, — продолжал он, отпив несколько глотков вина, — и всякий раз неподвижное тело то появлялось, то исчезало. Я готов был убежать из комнаты от этого ужаса, но вдруг случилось опять нечто неожиданное. Невидимые руки подняли фигуру вместе с подушкой и медленно стали приближать ее в мою сторону. Это безостановочное движение было так неумолимо и страшно, что и теперь при воспоминании о нем я теряю рассудок. Мне казалось тогда, что вот-вот меня раздавит и уничтожит холодное дыхание смерти, что мне нет спасения. Я оглядывался кругом, ища помощи, и взгляд мой упал на футляр с револьверами, стоявший на столе. Я схватил один из них, прицелился в голову парящего видения, выстрелил и... лишился чувств.

Когда я пришел в себя, возле меня возилась прислуга отеля, привлеченная выстрелом. Видение исчезло;

Ночь я провел в другой комнате, где ничто уже не нарушало моего покоя. С наступлением утра у меня явилось неопределимое желание узнать, что означало мое ночное видение.

Через час я звонил у двери моего соперника. Мне отворил знакомый лакей. Он был очень взволнован и рассказал мне, что зашел сейчас к барину, чтобы разбудить его, но нашел его распростертым на полу возле постели. Он не знает, в обмороке ли он или мертв.

Я вошел в комнату вместе с лакеем. Все было так, как он рассказал, но я обратил еще внимание на маленькое красное пятнышко на виске умершего. Пятнышко было как раз на том месте, куда я целился прошлой ночью.

Вскоре явился вызванный по телефону врач, но он мог только констатировать смерть. Он долго осматривал красное пятно на виске и пришел к заключению, что оно было результатом кровоизлияния: покойный ушибся об острый угол стула при падении с кровати.

[Без подписи]

МЕРТВЫЙ ГЛЕТЧЕР

Швейцарская легенда



Много лет тому назад жил в Альпах молодой пастух.

Артур (так его звали) пас хоров всех окружающих селений и жил в убогой хижине, которая стояла посреди зеленых пастбищ, а дальше в гору — сверкал вечной белизной ледяной глетчер. Артур любил молодую девушку, дочь богатого соседа. Девушка тоже полюбила молодого человека и просила своего отца благословить их брак, но гордый старик и слышать не хотел о таком скромном, бедном женихе. Тогда Артур решился добиться его согласия и однажды исчез неизвестно куда — искать успеха и богатства. Его невеста безумно тосковала в его отсутствие.

И вот, через год он воротился на родину богатым, славным воином. Радостный, полный надежд, стремится он на своем боевом коне прямо к дому невесты и находит несчастную девушку мертвой в гробу, накануне погребения.

Обезумев от горя, вскочил он в седло, помчался к глетчеру и там, на краю пропасти, в последний раз вонзил шпоры в бока своего коня.

С тех пор ничто никогда больше не видал его. А место Артура тем временем занял другой пастух. И вот, каждую ночь стало являться в тех местах белое привидение — душа несчастной девушки, которая не вынесла долгой разлуки с возлюбленным. Каждую ночь она скользила тихой тенью по пастбищам, около коров, которых так любил ее Артур; она присматривала за всем молочным хозяйством, появлялась всюду, скорбно, едва слышно рыдая: «Он умер! умер, умер!...»

Но новый пастух оставлял несчастную душу в покое: он находил, что стада со времени ее появления находятся в превосходном состоянии, и молоко никогда раньше не было так густо.

Как-то раз, в его отсутствие, пришел другой пастух и, увидав белое привидение, заклинаниями заставил бедную невинную душу исчезнуть.

И в тот самый момент ужас навевавший голос раздался с вершины глетчера... Он посылал проклятия туда, вниз, на пастбища, на стада, на людей — и содрогнулась земля.

В эту ночь, — кончает легенда, — ледяной поток глетчера изменил свое направление, ринулся на пастбища и поглотил в своем ужасном стремлении коровники, скот, пастбища, людей, похоронив все глубоко под своим ледяным потоком.

С того времени глетчер был назван «Мертвым».

В глубокую ночь люди, стоя на краю пропасти, могут слышать (или, может быть, им это только так кажется) — где-то глубоко леденящие душу стоны и жалобный, тихий звон колокольчиков альпийских стад, погибших так внезапно и так ужасно.

Е. Ваттерле

ЭЛЬЗАССКОЕ ПРЕДАНИЕ

В Эльзасе любят легенды. Почти каждый замок и каждая развалина имеет свою легенду, свое предание. Рассказы эти передаются из поколения в поколение, и иногда туристам удастся услышать в сумерки, у деревенского камина, воспоминания ушедших времен.

Легенда Гюгстейна — одно из интересных преданий, сохранившихся в Вогезских горах.

I

В долине Гюбвиллер, на значительном возвышении, еще высятся развалины древнего замка Гюгстейн... Бывшие владельцы его оставили ужасное, неизгладимое даже с веками воспоминание. И слышатся здесь по вечерам жуткие крики, подавленные жалобы и вздохи; протягиваются вверх белые руки бестелесных привидений и запоздавшие путники поспешно осеняют себя крестным знамением, проезжая мимо залятой башни. Не останавливаются потому, что нельзя слушать «призывы проклятых душ.

В свое время здесь жил жестокий Барнабас. Он умудрился хитростью завоевать весь край. Он никогда не бывал в церкви, но все судьба благоприятствовала ему, а злые духи, — его злым деяниям. Щедрые буржуа и крестьяне поставляли вина в его погреба. Барнабас не пускал ни одного прохожего или проезжего в свой дом. Он притеснял бедняков, за кусок хлеба заставлял их обрабатывать свои поля и загребал золото пригоршнями в сундуках зажиточных людей. Руки его были обагрены кровью чужестранцев и собственных подданных. Отчаяние и ужас овладели страной, в которой Барнабас истощил все источники, дабы удовлетворить свою гордость и напоить свои алчущие, жадные инстинкты. Долгие годы жил так властелин Гюгстейна. Между тем, час возмездия должен был наступить рано или поздно...

Вот что случилось однажды в декабрьскую ночь. Ледяной ветер кружил снег над рвами замка. Ели и сосны в го-

рах стонали, точно раненные от ударов бури. Точно саваном мрака и смерти окутался замок.

Однако за толстыми стенами его раздавались крики радости и веселья. Раздавались разгульные песни и звенели хрустальной посудой собравшиеся на шумный праздник. Из окон лился яркий свет на снежные дороги.



Барнабас созвал в эту ночь на пиршество всех соучастников своих преступлений. Собралось их, людей без совести и принципов, около двадцати человек, проживших всю жизнь в разбоях и преступлениях. Бесчисленное множество свечей-факелов освещало зал со сводами и отражали свое пламя на драгоценных картинах, редком оружии и бриллиантах, украденных у путников. Стол, отягченный серебром, стоял посередине зала. Пажи разносили вино в ковшах и вазах, вывезенных из ближайших храмов.

Было уже одиннадцать часов. Оргия, шумная и пьяная, была в разгаре.

— Пью за здоровье дьявола! — раздался чей-то хмельной возглас.

Веселый смех приветствовал этот тост, и пировавшие поспешно опустошили свои кубки.

И только Барнабас побледнел и несколько тревожно спросил:

— Какое число сегодня?

— Двадцать четвертое декабря, сочельник. Разве ты не слышишь, как гудят колокола церковей? Итак, пейте еще, друзья, за здоровье нашего покровителя, Сатаны, — провозгласил тот же гость.

— Канун Рождества? — переспросил граф Барнабас, и он стал считать что-то по пальцам ...

Вдруг друзья заметили смертельную бледность, покрывшую лицо графа и то, что лоб его увлажнился крупными каплями пота. Барнабас дрожал, словно в лихорадке. Друзья вскочили со своих мест и поспешили к хозяину. Барнабас пытался улыбкой скрыть охватившее его волнение. Решительным шагом он оставил комнату, бросив гостям:

— Я пойду справить черную мессу!

И он вышел, шатаясь.

Пьяные, праздные гости-шалопаи восторженно аплодировали в ответ на слова своего вождя.

Оргия продолжалась. Пробыло двенадцать; в свои права вступила полночь, таинственная, полная мистических замыслов полночь. Настал страшный час, когда отворяются могилы и приходят с того света грешники... Пришла полночь, когда на земле наступает царство повелителя ада...

Вместе с последним глухим ударом на башенных часах раздался душераздирающий крик. Даже привычные уши пировавших не слыхали ничего подобного этому крику и, внезапно отрезвленные, испуганные, они переглянулись. Послышался еще крик, более похожий на стон, но в котором так же явственно слышалось отчаяние и ужас. И он заставил гостей оставить гостеприимный стол.

Что же случилось, в самом деле?

Точно смягчились каменные сердца людей, не устававших убивать. То, что они слышали, не было похоже ни на крик живого, ни на возглас привидения: это был предсмертный стон приговоренного...

Гости, встревоженные, бросились к дверям с криками:
— Подайте сюда огня, факелы!..

И рассыпались по узким коридорам и темным залам замка.

Они осмотрели и обыскали все комнаты — нигде никого, ни самого Барнабаса. Какой-то мистический страх обуял гостей.

— Осталась только зала чудес, — вполголоса заметил кто-то.

«Зала чудес» находилась в самом верху башни. Кроме графа, никто туда не подымался; и он обычно возвращался оттуда разбитый и больной, точно его касалось там дыхание смерти.

Медленно поднялись гости Барнабаса по крутой каменной лестнице. Добравшись до тяжелой, внушительных размеров дубовой двери, они приостановились и стали слушать сквозь замочную скважину.

Послышался им странный звук, похожий на мурлыканье кошки.

Кто-то расхрабрился и изо всей силы толкнул дверь ногой.

— Он смеется над нами! Высаживайте дверь!

Под напором дверь поддалась... В зале чудес оказались только: кошка, длинный свиток пергамента на столе и мертвое тело на полу. Кошка бросилась к окну и исчезла во мраке ночи. Пергамент был испещрен кровавыми буквами. Труп был телом Барнабаса, изуродованным когтями, со свернутой шеей.

Гости покойника опрометью оставили комнату.

Они успели, при помощи факелов, разобрать начертанное на пергаменте. Хартия эта отдавала душу Барнабаса Сатане, как дань за несколько лет безумств.

Дьявол сдержал слово, Барнабас также...

Наутро вассалы пришли проводить в могилу своего господина. Тело его снесли из залы чудес вниз, и на дрогах, запряженных шестеркой лошадей, повезли гроб на кладбище. Внезапно лошади остановились, и не было сил сдвинуть их с места... Церковный служитель приподнял крыш-

ку гроба: из него вылетел громадный черный жук, а тела Барнабаса как не бывало.



Все это значится в летописях. И по сей день в замке Гюгстейн раздаются по ночам стоны отверженного и блуждает его привидение, а следом за ним крадется гигантская тень черной кошки.

II

Вы думаете, конечно, что этот жуткий эпизод послужил на пользу наследникам графа? Ничуть не бывало! Сыновья графа Барнабаса остались нечестивыми, и разбои их приводили в трепет народ.

Три сына Барнабаса со своими детьми поселились в Гюгстейне и предавались днем грабежам, а ночью — изощренным оргиям.

Как-то вечером стража вызвала их на большую дорогу, где проезжали восточные купцы с роскошными тканями. Господа поспешили грабить проезжих. Хозяин товара беспрекословно отдался им в плен. Это был человек лет тридцати, хорошо сложенный. Одет он был в прекрасное платье огненного цвета. Зеленоватые глаза его глядели строго, по-

чти сурово... Мрачная, зловещая улыбка не покидала его губ... Но властители Гюгстейна не утруждали себя разглядыванием его лица.

Вернувшись во двор замка, они поспешили разложить награбленный товар. Давно уже не видали они подобных богатств!..

Пленника своего они приказали свести в темную темницу. Он все так же насмешливо молчал и заговорил только тогда, когда сторож принес ему кусок хлеба, воду и солому.

— Нет, от этого я отказываюсь. Пойди, скажи графам, что я привык к вину и пицци такой же, как у них и что спать я могу только на мягком ложе. Я не сожалею об отнятом у меня, но прошу их взамен позвать меня к своему столу. Пойди и передай, — заключил купец повелительным тоном.

— Ну что же, приведи, пожалуй, сюда нашего пленника; он, кажется, человек бывалый и позабавит нас своими рассказами, — дал свое согласие старший граф.

Действительно, купец оказался приятным собеседником. О чем бы он ни говорил — он умел коснуться всего с тонким знанием и неисчерпаемым остроумием. Он чаровал своих слушателей бесконечными рассказами, а после и чародейскими фокусами: по его приказанию сами собой стали наполняться пустые кубки, срывались со стен сабли и кинжалы...

Испуганные хозяева давно встали из-за стола... Пробила полночь... Словно вырос гость-купец, вытянулся во весь рост и обратился к старшему графу;

— Граф Гюгстейн, проститесь с жизнью. Мы сведем счеты с вами, и я расправлюсь с вами судом Сатаны...

Едва договорил он свои слова — замок вздрогнул от сотрясения, и рухнувшие стены его похоронили нечестивцев. Сквозь дым и пламя вылетел злой дух. Так погибла эта семья разбойников. С тех пор прошло много лет, прошли века, а на развалинах Гюгстейна никто не решается выстроить новое здание.

Морис Ренар

КОНЕЦ БАЛА

Через несколько дней после того, как герцог де Кастьевр купил знаменитый замок Сирвуаз, я получил от него письмо с приглашением приехать к нему в его новую резиденцию.

«Здесь все находят, доктор, — писал он, — что мое здоровье оставляет желать лучшего. Я, пожалуй, согласен с этим. Я и герцогиня будем очень рады иметь вас своим гостем на возможно более продолжительное время».

Моя дружба к герцогу и шестнадцать лет, в течение которых я пользовал его, заставили меня принять это приглашение. Я решил посвятить ему свой летний отдых.

Замок предстал передо мной при ярком солнечном свете, как чудо строительного искусства. Я убежден, что все картины, гравюры, открытки с изображением замка нисколько не преувеличивают: Сирвуаз, как чудный апофеоз, возвышается на окруженном лесами высоком холме среди песчаного берега Луары.

Герцог встретил меня на перроне. Хотя он выразил радость при виде меня, от меня не ускользнуло его мрачное настроение.

— Это герцогиня настаивала на вашем приезде, — сказал он со смехом. — Я вовсе уж не так плох. Чувствую себя, как всегда. Как всегда...

Герцогиня при этом смотрела на меня полными беспокойства глазами. Она выразила желание лично проводить меня в назначенную для меня комнату. Я понял, что она хотела поговорить со мной о состоянии ее мужа. Она рассказала мне, что, когда они поселились в Сирвуазе, герцог сперва был в прекраснейшем настроении. Все его радовало, он с жаром говорил о реставрации замка, о его историческом прошлом. Но постепенно старая болезнь, с которой мы так упорно боролись, начинала овладевать им. Герцогиня не пыталась найти причину этой перемены. Что могло вызвать нервность? Это тайна. Герцогиня рассчитывала на меня, светского духовника герцога, чтобы я отвлек его от мрачных мыслей и вернул к жизни.

Я обещал ей сделать все возможное.

За час до обеда я сидел с герцогом в зале в строго выдер-

жанном стиле XV века. Я решил воспользоваться этим моментом, чтобы заставить высказаться своего пациента.

Сначала он все отнекивался. «Да уверяю вас, со мной ничего особенного... Я себя чувствую прекрасно...» Но, в конце концов, признался:

— А, впрочем... пожалуй.. Да, признаюсь, меня нечто мучает...

— Что же это?

— Но это останется между нами? Не правда ли? Вы знаете, — продолжал он, нахмутив брови, — что Сирвуаз я приобрел всего несколько месяцев тому назад. Вы знаете также, что я давно уж хотел приобрести его... Вот это-то долгое страстное стремление и является, по-видимому, причиной теперешних неприятностей моих... Дорогой мой, я должен признаться вам, что купил Сирвуаз за гроши...

— То есть, как это?

— За гроши, говорю я вам, потому что носят слухи, будто в Сирвуазе — привидения.

Герцог загадочно улыбнулся.

— Вот почему все в окрестности возмущены, — продолжал он, не отвечая на мой изумленный взгляд. — Говорят, что я сам распространил эту сказку, чтобы разогнать конкурентов и обесценить замок.

— Да полноте! Это, верно, шутка какого-нибудь клубмена, которой никто не придает значения...

— Да нет! Уверяю вас. Я знаю, многие обвиняют меня, особенно среди тех, кто сам намеревался приобрести замок, может быть, еще за более низкую цену... Они были бы рады, если бы я перепродал его теперь. А между тем, видит Бог, я никогда ни слова не говорил об этой истории с привидением...

Горящий взгляд моего собеседника возбудил во мне подозрение.

— Привидение?! — воскликнул я, притворяясь очень заинтересованным этим. — Я до безумия люблю подобные истории. В Сирвуазе привидения? Какие?

— О, друг мой, оставим шутки, — сухо ответил герцог. — Могу вас только уверить, что Сирвуазское привидение не

мешает мне спать! Я не сумасшедший. Будьте спокойны, я не провожу ночи, чтобы прислушаться, не бродит ли оно по коридорам с полуночи до рассвета. Я сказал вам сущую правду. Меня огорчают только распространяемые про меня сплетни.

— Я и не думаю выпытывать у вас, дорогой герцог, — возразил я. — Но уверяю вас, я всегда интересовался домами «с привидениями». Я вас очень прошу посвятить меня в эту историю. Как ведет себя ваш дух?

Герцог пожал плечами и уклончиво ответил:

— Ба! конечно, по традиции — глухие шаги, сопровождаемые лязгом железа. Чтобы такая глупость могла обесценить замок — это просто невероятно! Завтра вы сами увидите, какое это чудо.

— Что вы скажете относительно маленького путешествия? — предложил я.

— О, нет! Я слишком влюблен в мой прекрасный замок.

— В таком случае, продолжайте образ жизни, который вы вели до сих пор: спорт, празднества, выезды...

На лице его появилась гримаса неудовольствия.

— О! Я предпочитаю одиночество. Я с наслаждением переживаю здесь прошлое замка, которое так легко восстановить.

— Как?! Одиночество в Сирвуазе? Вы тут никого не принимаете?

— Никого.

— Ничего более вредного не могли вы придумать для себя. И потом, если, действительно, про вас идут сплетни, то вы избрали худший путь для рассеяния их: скажут, что вы боитесь показаться людям после «выгодной сделки».

— Пожалуй, вы правы, — пробормотал герцог. — Впрочем, я не совсем прав, когда говорю, что никого мы тут не принимаем. Тут с нами мадам де Суси, сестра герцогини, и каждый вечер к нам приезжает жених ее.

— Мадам де Суси выходить замуж? — удивился я.

— Что ж тут удивительного? Вдова двадцати трех лет... Да, доктор, моя невестка Диана выходит замуж за графа де Рокроя, лейтенанта кирасирского полка. Вы познакомитесь с

ним сейчас.

— И неужели присутствие помолвленных не обязывает вас предоставить и некоторые развлечения? Это лучший случай собрать в Сирвуазе всех соседей. Ведь есть же тут общество?

— И немалое... С большинством я даже знаком...

— Ну вот! Чего же вы ждете? Каждый день должно быть какое-нибудь развлечение — пикник, бал...

— Тут?! тут?! — с возмущением перебил меня герцог. — Бал в этом старинном замке?!.. Общество, которое может тревожить старые воспоминания?..

Он говорил, как во сне, как будто бы отвечая на свою собственную мысль. Я понял, что теперь не время настаивать, тем более, что раздался звонок к обеду.

Мы перешли в другой зал, где герцогиня беседовала со своей сестрой и с графом де Рокроем.

Я как теперь вижу эту прекрасную группу двух очаровательных молодых женщин в вечерних туалетах и этого молодого человека, атлета, почти великана, с лицом, которое, раз увидев, трудно забыть.

— Граф де Рокрой. Доктор Б. — представила нас герцогиня.

— Кушать подано, — доложил лакей.

Роскошь стола вполне соответствовала роскоши туалетов дам. Герцогиня делала все возможное, чтобы доставить герцогу возможно больше радостей. За столом герцогиня, де Рокрой и мадам де Суси вели оживленный разговор, несколько раз вызывавший даже улыбку на устах герцога. За десертом последний и совсем оживился.

Я был доволен. Если маленькое общество в кругу семьи могло так оживить его, тем благотворней подействует на него возвращение к обычному образу жизни светских людей. А так как уехать из Сирвуаза герцог отказывался, то нужно было, следовательно, привлечь общество сюда.

Поэтому на другой день я возвратился к моему предложению, настаивая на этот раз на том, что жестоко по отношению к молодым женщинам обратить замок в монастырь.

— Это будет профанацией, — возразил мне герцог. — Вы

согласитесь со мной, если осмотрите здание. Пойдемте, я покажу вам его.

И он стал водить меня из комнаты в комнату.

Меня удивила его осведомленность относительно мельчайших деталей замка. Он ознакомил меня со всеми бывшими владельцами замка и особенно с королем Франциском I, который в течение нескольких лет вел здесь жизнь, полную развлечений и удовольствий.

Переходя из комнаты в комнату, из галереи в галерею, он привел меня вдруг в огромный, светлый, фантастический зал. Сводчатый куполообразный потолок напоминал неф церкви. Вдоль одной стены на простенках были нарисованы чудные Туренские сады; на противоположной стене — прекрасные гобелены. Но что было самым удивительным в этом зале, так это ряд доспехов, расположенных вдоль стен и один гигант на железной лошади у входа в неф, как будто бы командовавший отрядом.

Я не мог удержать возгласа восхищения. Герцог стал водить меня от одного воина в доспехах к другому. Я испытывал жуткое ощущение в этом своеобразном музее. Казалось, тут стоят перед нами опустевшие оболочки бывших людей. В доспехах есть нечто, напоминающее труп или мушкетера.

Герцог, тем временем, закидал меня совершенно неизвестными мне дотоле названиями и техническими терминами, разъяснял назначение каждой части доспехов, иногда называл даже лицо, которому доспехи эти принадлежали. Некоторые из них были неизвестны даже мне.

— Вонкиве... Байард... — называл их герцог. — Коннетабль де Бурбон. Все эти доспехи относятся к царствованию Франциска I.. А воу там и сам король в доспехах.

— Какой огромный! — воскликнул я.

Король, твердо сидевший на своем коне, казался действительно гигантом.

— Это доспехи, в которых он был во время битвы при Пави, — объяснил герцог.

Затем, оглянувшись и окинув взором весь зал, он произнес:

— И вы хотите, чтобы я привел сюда наших англоманов, увлекающихся теннисом? Чтобы я тут устраивал five o'clock'и, рауты?! Чтобы тут наши снобы танцевали танго с дамами, одетыми по последней моде?!

В этот миг в голове моей блеснула, как мне казалось, счастливая мысль.

— Но что же, дорогой герцог, мешает вам на один вечер преобразовать жителей Сирвуаза в людей давно прошедшего века? Устройте костюмированный вечер и пусть все гости будут в костюмах XV в.

— А ведь мысль недурная! — согласился герцог.

А я подумал: «Хорошо и это. Хотя это празднество на один только вечер, но приготовления к нему могут рассеять нашего больного по крайней мере в течение трех недель. А там еще что-нибудь придумаем».

— Прекрасная мысль! — повторил герцог. — Надо рассказать герцогине.

Конечно, обе сестры вполне одобрили эту затею. А когда вечером к обеду приехал граф де Рокрой, он пришел в такой восторг, что чуть не расцеловал меня.

— Руководителем бала будете вы, Мориц, — сказал ему герцог. — Танцы должны быть только старинные. Вообще, стиль должен быть выдержан во всем.

— Рассчитывайте на меня, — воскликнул граф.

— А я позабочусь о приготовлениях, — добавил герцог.

Герцогиня была так рада, что смеялась до слез, чтобы скрыть, что действительно плачет от радости при виде оживления мужа.

Я правильно все рассчитал. В течение трех недель Сирвуаз и все в его окрестностях зажило кипучей жизнью. Мои хозяйева делали в Париже бесчисленные заказы, закупили книги с рисунками, эстампы, костюмы и т. п. Нагруженные автомобили беспрерывно подъезжали к замку. Герцог проявлял лихорадочную деятельность. Он хотел, чтобы все было верно эпохе, начиная с костюмов и кончая оркестром и освещением зала факелами.

Я гордился достигнутым успехом, и в то же время мне вовсе не улыбалось также облачиться в костюм. Я с трудом

упросил герцога разрешить мне надеть простой костюм моих собратьев XV века. Каждый держал в секрете, в какой костюм он оденется, для того чтобы легче было интриговать друг друга. Знали мы только костюм графа де Рокроя. Да его все равно, по его необыкновенному росту и фигуре, сразу узнали бы.

Так как на него возложена была роль хозяина-распорядителя праздника, то ему был приготовлен костюм короля Франциска I.

Пока шли приготовления, я познакомился с соседями и у многих из них побывал. У них я узнал, что, действительно, покупка герцога вызвала много сплетен. Но многие все-таки были рады, что замок достался этому милому французу, так как много спекулянтов и иностранцев зарились на него, а лорд Фербороуф даже уже хвастался, что на Рождество будет владельцем Сирвуаза.

Что касается истории о привидении, то она была довольно смутная и банальная. Над ней шутили, не придавая ей особого значения, считая ее скорее мистификацией герцога.

Я рад был узнать, что нервное настроение герцога имело, в сущности, основание. Это давало мне надежду на скорое излечение его, потоку что с реальной причиной легче бороться, чем с продуктом воображения.

Я зорко следил, однако, за его образом жизни, старался не допускать утомления, слишком большого возбуждения, и убедил графа де Рокроя большую часть забот взять на себя.

Наконец настал вечер, назначенный для бала. Я облачился в свой костюм, в котором походил не то на Эразма Роттердамского, не то на Рабле или Монтегю.

Я первым вышел в караульный зал. У входа расставлены были переодетые слуги, которых очень забавлял этот маскарад. Факелы наполняли зал тусклым красноватым светом, оставлявшим своды во мраке. Воины в доспехах оставались на своих местах, как немые свидетели воскрешения их эпохи.

Первым появился в зале кавалер, при виде которого я невольно воскликнул: «Карл VI!», а потом подумал: «Герцог де Кастьевр».

Меня поразило, что он выбрал именно костюм этого короля-маньяка.

Затем в зале появились две принцессы в стильных костюмах XV века.

— Герцогиня д'Этамп и Маргарита Наваррская! — доложили о них.

Это были герцогиня де Кастьевр и ее сестра мадам де Суси. Затем стали появляться один за другим гости. Большой эффект произвело появление Генриха VIII, короля-Синей Бороды, окруженного своими шестью женами.

Вдруг прискакал гонец и сообщил, что граф де Рокрой по делам службы задержится и не может прибыть вовремя. Он извинялся и просил открыть бал, не дожидаясь его.

Мадам де Суси очень огорчилась. Герцог совсем опечалился.

— Я совсем не подготовлен. Я так надеялся на него.

Но он сейчас же овладел собой и громко произнес:

— По местам, господа! Откроем бал.

Начались танцы, полные грации и торжественности. Но около полуночи все хореографические познания герцога уже истощились, и он решил в ожидании графа де Рокроя занять гостей забавными рассказами про кавалеров в латах — свидетелей нашего праздника. Герцог разошелся, мило и забавно шутил. Переходя от одного воина к другому, он вдруг остановился перед фигурой Франциска I и на забавном древнефранцузском языке обратился к нему со следующей речью:

— О, любезный король, мой добрый кузен! Ты, который в настоящий миг, к моему великому прискорбию, являешься моим пленником! О, если бы ты мог быть здесь с нами, облеченный в плоть и кровь! Как позабавился бы ты с нами, как танцевал бы с нашими дамами! Как весело звучал бы твой смех...

Герцог вдруг остановился. Все вокруг него инстинктивно отшатнулись. Случилось нечто невероятное. Фигура вдруг

подняла копьё и громко рассмеялась. И потом медленно, как командор, перекинула ногу через седло и стала на пол.

Герцог был бледен, как мертвец. Вид его испугал некоторых, которые в первый момент склонны были видеть во всем этом забавную шутку. Их крики испуга смешались с хохотом других гостей, громкими аплодисментами и шумными овациями по адресу герцога.

Первой пришла в себя мадам де Суси.

— Да ведь это де Рокрой! — радостно воскликнула она. — Ну, да, конечно. Ведь он должен быть в костюме Франциска I...

И мадам де Суси любовно повисла на руке Франциска I, шутливо называя его «Ваше Величество» и представляя ему придворных дам и щеголей. Маленькая, изящная герцогиня д'Этамп рука об руку с этим гигантом представляла прекрасную пару, которая торжественно, милостиво раскланиваясь с гостями, пошла по залу.

Танцы возобновились. Де Рокрой, несмотря на тяжесть его доспехов, танцевал легко, изящно. Он прекрасно выдерживал роль, старался не проронить ни слова, чтобы продлить мистификацию.

Я не упускал из виду герцога де Кастьевра. И не без основания. Лицо его позеленело. Глаза испуганно блуждали. Он пугал меня.

— Диана отвратительно ведет себя, — произнес он, уловив мой взгляд.

И действительно, герцогиня д'Этамп вела себя почти неприлично. Ее жених-король держал себя слишком свободно с ней: по-видимому, де Рокрой хотел дать вполне выдержанный тип Франциска I, который не очень стеснялся с прекрасным полом, а мадам де Суси подчинялась фантазии своего жениха. Герцогиня попробовала было обратить их внимание на неприличие их поведения, но в ответ на ее замечания де Рокрой лишь крепче прижал к себе свою невесту.

Герцогиня подошла к нам.

— Пожалуйста, поговори с Морисом! — попросила она мужа. — Заставь его прекратить эту глупую шутку. Не по-

нимаю, какая муха укусила его... Но что с тобой?..

Герцог схватил ее за руку, другой уцепившись за меня. Меня поразило в этот миг его необыкновенное сходство с сыном Иоанны Безумной. Посмотрев по направлению его безумного взгляда, я увидел у входа в зал как будто сошедшего с картины Тициана Франциска I — не было никакого сомнения, что это может быть только граф де Рокрой.

Граф де Рокрой... Значит, их двое... Кто же этот второй или, лучше сказать, первый?

— Это шутка, — попробовал я успокоить герцога. — Какой-нибудь шутник забрался в доспехи короля.

— Шутник? — глухо повторил герцог. — Но кто? Боже мой, доктор! Слышите ли вы металлический лязг при каждом шаге его? А Диана ничего не знает, ничего не подозревает...

И вдруг царивший в зале шум и звуки музыки покрыл громкий возглас де Рокроя.

— Диана! — позвал он.

Все узнали его. В зале все замерло, все отшатнулись от центра, где остались лишь Франциск I с прижавшей к его доспехам разгоряченную щеку мадам де Суси.

— Диана! — повторил граф де Рокрой.

Мадам де Суси повернула голову в его сторону. Она вздрогнула, узнала его, хотела вырваться от своего кавалера, но он теснее прижал ее к себе. Она стала вырываться от него, а он сжимал ее, как в тисках.

— Отпустите ее, — крикнул де Рокрой, — и откройте свое лицо!

В этот миг в воздухе сверкнула молния. Незнакомец вытащил из ножен шпагу и бросился к стене, увлекая с собой конвульсивно бившуюся в его руках мадам де Суси.

Де Рокрой бросился за ними. Поднялось страшное смятение. Среди криков дам и громких призывов кавалеров слышен был лязг оружия. Стоны раненых, кровь на земле. И в полумраке на фоне стены размахивающая оружием гигантская фигура Франциска I.

Я не отходил от дрожащего от ужаса герцога.

— Полночь... — бормотал он. — Шаги... глухие шаги в

коридоре... Лязг железа... Король! Король! О, хоть бы скорее рассвет!

— Успокойтесь, — уговаривал я его. — Сейчас мы узнаем, кто это нарушил наш праздник.

— Умеете вы подражать пению петуха? — спросил он меня вдруг со странным видом.

С этим вопросом он бросился к другим гостям.

— Умеете вы подражать пению петуха? — полным трагизма голосом повторял он.

Я следовал за ним, как вдруг ко мне бросилась герцогиня.

— Доктор, доктор! — кричала она. — Ради Бога, скорее.... Моя сестра...

Мимо меня пронесли безжизненное тело, утопающее в лентах и золотых одеждах. Я должен был оставить герцога и зал и пойти туда, куда звал меня мой долг.

Мадам де Суси медленно приходила в себя. Я и герцогиня еще хлопотали возле нее, давали ей нюхать эфир, когда герцог вошел в комнату.

Он был неузнаваем, и его полный ужаса взор безумно блуждал по комнате. Никто не посмел предложить ему вопроса. Вслед за ним вошел покрытый кровью, с раненым пальцем де Рокрой... Он бессильно опустился на стул и молчал.

— Кто был в доспехах? — задыхаясь, спросила герцогиня.

— Ужас! Ужас! — бормотал герцог.

Граф де Рокрой, рану которого я перевязывал, потерял сознание, не успев ничего ответить.

За работой я думал:

«Они убили этого человека. А герцог, вероятно, вообразил себе, что в доспехах был и раньше труп».

Признаюсь, я был очень взволнован и готов был верить во всякую фантастическую сказку. И все-таки волосы у меня стали дыбом, когда де Рокрой, раскрыв глаза, прошептал:

— В доспехах никого не было...

Наступил рассвет. Оказав первую помощь де Рокрою и

его невесте, я занялся герцогом. Он был в таком состоянии, что необходимо было немедленно увезти его отсюда. В тот же день я увез его в Швейцарию. Через месяц я оставил его на попечении одного из своих братьев и герцогини — увы! с весьма слабой надеждой на выздоровление.

Область чудес — вещь чрезвычайно редкая, и обыкновенно испытываешь страшное разочарование и досаду, когда разбивается вера в нечто сверхъестественное. Такое чувство испытал я, когда однажды один болтун сказал мне:

— Знаете, как все это произошло? Нет? Ну, так я расскажу вам. Незнакомец уверенным шагом направился к стене, к которой его прижали и у которой потом нашли пустые доспехи. Вы спросите, кто же притащил их сюда? В стене оказалась потайная дверь... Когда ее через час с большим усилием открыли, за ней нашли целый лабиринт ходов... Вы ведь знаете, что вскоре после того замок Сирвуаз был перепродан за баснословно низкую цену. Я случайно встретился с его новым владельцем, лордом Фербороуфом. Прекрасный малый, колоссального роста... Говорят, любитель приключений, фантазер и жестокий человек... Между прочим, все слуги герцога де Кастьева остались в услужении лорда... Гм!.. Что скажете вы на это, мой милый?..

Рафаэль Сабатини

ГОБЕЛЕНОВАЯ КОМНАТА

— Ну что ж, хорошо, — молвил наш хозяин, — если дамы уж так настаивают, так и быть, я расскажу вам. Но, предупреждая, рассказ будет не из приятных.

Все собравшиеся в библиотеке ближе придвинули стулья к большому камину. За высокими окнами завывал ветер, густыми хлопьями падал снег. И от этого у огня было особенно уютно. Отсвет пламени падал прямо на загорелое, бритое лицо сэра Джемса и его серебряные волосы. С видимой неохотой наш любезный хозяин согласился вытащить из шкафа, в угоду гостям, фамильный скелет.

— Случилось это, — начал он, — на Рождество 1745 года. Моя бабушка, леди Евангелина Маргат, жила в то время здесь одна: муж ее умер, а двое сыновей были в отъезде.

За три дня до Рождества в замок явился человек с просьбой о разрешении представиться ей. Это был беглый якобит, которого разыскивали уже три месяца слуги короля Георга. Он знал леди Евангелину в иные, более счастливые дни; говорят даже, будто одно время они были помолвлены. В трудную минуту жизни он обратился к ее помощи.

Принять и укрыть у себя бунтовщика была в то время вещь опасная, но, когда в женщине проснется чувство, она не думает об осторожности. Бабушка приютила его, а домашним сказала, что это ее кузен. Но за беглецом гнались по горячим следам, и на другой же вечер, когда леди Евангелика со своим якобитом сидели за ужином, в замок явился королевский лейтенант с отрядом солдат, и якобит был арестован и увезен в Престонскую тюрьму.

Предположил ли беглец, что леди Евангелина выдала его, или же иные мотивы руководили им, это так и осталось неизвестным, но только накануне Рождества — на следующий вечер после его ареста, — он, воспользовавшись тем, что его сторожа напились и охмелели, убежал из тюрьмы, среди ночи примчался сюда, влез в окно спальни леди Евангелины и зверски умертвил ее.

На второй день праздника его схватили в Ланкастере и повесили — что он вполне заслужил. Вот и все.

Слушатели перешептывались: они ожидали большего.

Я рискнул выступить выразителем общих чувств.

— Но ведь вы не все рассказали нам, сэр Джемс; у этой истории есть продолжение. С тех пор в замке ходят привидения — вы об этом нам расскажите.

— Об этом? Извольте: предание гласит, что каждый год, в дек годовщины преступления, якобита видят влезавшим в окно гобеленовой комнаты — как звалась спальня леди Евангелины. И в этой комнате вновь призрак убийцы убивает призрак жертвы.

Презрительный смех Эджворта прозвучал диссонансом в общем жутком настроении. Рассказ хозяина не произвел на него никакого впечатления. Положим, трудно ожидать, чтобы ирландец, в пять лет сделавший военную карьеру, превратившись из поручика в полковника, боялся привидений.

— Но вы-то, Джемс, — воскликнул он, — вы-то, надеюсь, не верите всем этим бабьим сказкам?

Лицо баронета выразило сомнение.

— Не знаю, — протянул он, — не скажу, чтоб верил; не могу сказать, чтоб и не верил. У меня нет доказательств, то есть, я хочу сказать, что могу верить только свидетельству собственных чувств.

— Но ведь другие видели и слышали, — возразил Филипп, племянник и наследник сэра Джемса.

Полковник Эджворт снова засмеялся, тихо, но с несрываемой насмешкой. Хозяин слегка сдвинул брови. Было ясно, что ему неприятен презрительный скептицизм полковника, который я втайне разделял. Сэр Джемс очень гордился своим родом и дорожил всеми фамильными преданиями: он требовал уважения даже и к привидению, раз оно фамильное.

— Три раза, в разные годы, — ответил он, — меня под Рождество будили перепуганные слуги, докладывавшие, что они слышали шум в гобеленовой комнате.

— По всей вероятности, крысы праздновали Рождество, — поспешил придумать объяснение Эджворт. Но никто не вторил его смеху, а миссис Гемптон, вдовья сестра сэра Джемса, которая жила с ним и вела хозяйство, кротко воз-

разила:

— Ну, уж это нет, полковник Эджворт. Гобеленовая комната вовсе не запущена, как вы, по-видимому, предполагаете, и крыс в ней нет. Вся обстановка в ней та же, что была в восемнадцатом столетии, в момент совершения убийства, но содержится она в таком порядке, что и сейчас в ней можно жить.

Дверь отворилась, и вошел дворецкий с двумя лакеями, несшими свечи и лампы. Наши дамы украдкой вздохнули с облегчением — это было очень кстати: свет рассеял смутные страхи, навеянные темнотой и страшным рассказом.

Слуги задернули занавесия окна и бесшумно удалились.

— Мне представляется несколько странным, сэр Джемс, — отважился я заметить, — что вы сами ни разу не попробовали проверить этот рассказ о привидениях.

Загорелое лицо сэра Джемса расплылось в улыбку.

— Видите ли... — мне это вряд ли было бы полезно. Говорят, что членам нашей семьи появление этого призрака предвещает несчастье — близость внезапной смерти. Ну, а я особенной осторожности не соблюдаю: много езжу верхом, охочусь... словом... — Он любовно погладил себя по шее, как бы прося снисхождения. Двое-трое тихонько засмеялись.

— Вот это нехорошо, — заметил я.

— Что нехорошо?

— Да вот эти дурные предзнаменования. Это сводит ваше фамильное привидение на уровень всех прочих. Ведь и везде предок, явившийся потомку, предвещает близость смерти. Мне очень грустно, сэр Джемс, но вы подорвали мою веру в якобита.

Сэр Джемс так огорчился, что я тотчас же раскаялся в своей искренности. Эджворт снова засмеялся, и лицо нашего хозяина выразило досаду, а одна из дам, молодая жена Филиппа, бросив нам укоризненный взгляд, возразила:

— Но, мистер Деннисон, сэр Джемс забыл сказать вам, что его отец видел якобита накануне своей кончины.

— Это может быть объяснено научной теорией Пюисегюра, — возразил я, чувствуя, что от меня ждут разъясне-

ний. — Отец сэра Джемса знал, что смерть его уже близка; он знал и то, что в его роду принято видеть привидения якобита накануне своей смерти — вот он и увидал его.

— В воображении, конечно, — закончил Эджворт, поворачивая ко мне свое бронзовое лицо.

— Само собой. У меня вдруг явилась мысль. Кстати, нам представляется превосходный случай расследовать это дело, — сегодня как раз годовщина. Если вы разрешите мне провести ночь в гобеленовой комнате...

— О, нет, нет! Ради Бога, мистер Деннисон! — взволнованно вскричала сестра баронета.

— Но почему же нет, миссис Гемптон? Я не боюсь привидений.

— Я предпочел бы, — серьезно молвил сэр Джемс, — чтобы мои гости не подвергали себя таким... таким.. — Он заппнулся, не найдя подходящего слова, и Эджворт поспешил закончить за него:

— Нелепоستم. Скажите лучше прямо, что вы боитесь, как бы не лопнул этот ваш романтический мыльный пузырь.

Взор нашего хозяина вспыхнул гневом. Но тотчас же он с улыбкой повернулся ко мне:

— Я согласен, Деннисон, при условии, что вы будете не одни. Возьмите себе товарища — да вот хоть Эджворта; кстати, он уверяет, что не боится ни Бога, ни черта, и фыркает при одном упоминании о привидениях...

— Отлично. По рукам! — воскликнул Эджворт. — Мы будем охотиться за этим привидением вместе, Деннисон, — советую ему остерегаться.

Дамы запротестовали, и Филипп вместе с ними. Но сэр Джемс, уязвленный недоверием Эджворта к семейным преданиям, поддержал нас обоих, и решено было, что мы проведем эту ночь в гобеленовой комнате.

В тот вечер мы поздно встали из-за стола. Подъехали кой-кто из соседей помещиков и, когда дамы ушли из столовой, мужчины устроили форменную попойку, в которой больше, всех отличался Эджворт, такой же мастер пить, как он был мастер драться и ездить верхом.

Я рискнул напомнить ему о предстоявшем нам, но он, смеясь, ответил мне, что он дрался при Дуро за сохранение для Англии того самого вина, которое теперь мы пьем*, и уж, конечно, не пристало ему отказывать себе в награде.

Мы вышли из-за стола и присоединились к дамам уже незадолго до того, как ложиться спать. В половине одиннадцатого наш хозяин сам проводил нас в гобеленовую комнату, наскоро приготовленную для нас.

Яркий огонь был разведен. Перед самым камином стоял круглый стол красного дерева и два покойных больших кресла. На столе стоял серебряный канделябр с четырьмя зажженными свечами и лежала колода карт, на случай, если мы пожелаем скоротать время за игрой. На другом столе, в нише возле камина, предупредительный дворецкий поставил поднос с бутылками и стаканами.

Должен сознаться, однако, что, несмотря на все эти утешительные приготовления, мне стало жутко, когда я вошел в эту длинную, низкую комнату. Даже яркий огонь в камине и свет четырех свечей не разгоняли теней, отбрасываемых огромной, под балдахином, кроватью из резного ореха. Комната была обшита частью дубовыми панелями, частью гобеленами, и это придавало ей еще больше мрачности. Высокое окно — через которое восемьдесят** лет тому назад влез убийца, — было закрыто выцветшими занавесями, и с первого же момента, как я вошел в комнату, я не мог отделаться от ощущения, что за этими занавесями кто-то прячется.

Близь изголовья кровати сэр Джемс показал нам дверь, так искусно скрытую в стене, что мы могли бы и не заметить ее. Он отворил ее, и обнаружилась небольшая комнатка, представлявшая удивительно приятный контраст с мрачной спальней.

* Т. е. портвейн. Речь идет о сражении в мае 1809 г., в ходе кот. англо-португальская армия победила французские силы, отвоевав город Порту (Здесь и далее прим. сост.).

** Так в оригинале. В русском пер. ошибочно «восемнадцать».

Светлые ситцевые занавески фестонами спускались с окон; обои на стенах, белые с мелкими алыми розочками, казались совсем новыми, диванчик и два «дедовских» кресла, вместе со столом, составляли всю обстановку комнаты и также были обиты ситцем. Над камином висело овальное зеркало в золоченой раме; в камине весело горел огонь и отражался в зеркале. На столе приветливо светила лампа. Воздух в комнате был свежий, с легким запахом лаванды.

— Здесь повеселее будет, — сказал сэр Джемс, — и сестра моя, на всякий случай, велела приготовить для вас и эту комнатку, — может быть, вы предпочтете сидеть здесь, а не там.

— А эта комната не имеет никакого отношения к убийству? — спросил я.

— Почти никакого. Здесь спала горничная моей бедной бабушки. Она была разбужена криками своей хозяйки и хотела бежать ей на помощь, но не в состоянии была отворить двери.

— Но ведь на двери нет задвижки, — возразил Эджворт.

— Может быть, тогда была. А, может быть, дверь не отворялась потому, что поперек нее лежало тело ее госпожи.

Хотя с тех пор, как я узнал, что и эта комнатка имеет отношение к убийству, она нравилась мне гораздо меньше, все же здесь было несравненно приятнее, чем в огромной мрачной спальне; и, когда мы с Эджвортом вернулись туда, я втайне вздыхал по веселому уюту маленькой соседней комнатки.

Но Эджворт, по-видимому, не разделял моих чувств. Он откинулся на спинку кресла, положил руки на поручни, вытянул свои длинные ноги, подтянул брюки и зевнул.

— Глупо это мы с вами затеяли, — заметил он. — Мне уже сейчас спать хочется. Не знаю, сколько я высижу. Дьявольски крепкий у Джемса портвейн, — прибавил он, как бы объясняя свою сонливость. Будем надеяться, что призрак якобита не заставит вас слишком долго ждать себя, — молвил он и засмеялся.

Я невольно вздрогнул, когда эхо откуда-то с потолка откликнулось на этот смех. Эджворт взял карты со стола, ста-

совал их и предложил партию в экарте, по маленькой. Я согласился, и мы начали играть.

Однако, я не в состоянии был сосредоточиться на игре. В атмосфере комнаты, без сомнения, было что-то волнующее. Я то и дело оглядывался, с трудом подавляя дрожь; в темных углах как будто что-то двигалось, гобеленовые занавеси на окнах точно шевелились, и я не мог отделаться от мысли, что за ними кто-то прячется. И это страшно нервировало меня. Я готов был поклясться, что складки занавесей лежат не так, как прежде.

— Какая досада, что они не дали нам больше света! — нервно вырвалось у меня. — Сидеть в темноте немножко жутко, когда подумаешь, что было в этой комнате.

— На кой же черт думать об этом? — Он фыркнул. — Я думал: вы разумный человек и скептик, такой же, как и я. А теперь, я вижу, и вы верите этил бабьим сказкам.

Я молча сдавал карты и с каждой сдачей играл все хуже, не смея сознаться и самому себе, что Эджворт говорит правду. Чем дальше, тем я больше нервничал, играл прескверно и Эджворт, отлично игравший в экарте, без труда обыграл меня. Окончив партию, я отказался продолжать, и он, снова, позевывая, откинулся на спинку кресла.

— Ну что это за привидение — такое неаккуратное! — жаловался он. — Сколько же еще времени оно заставит себя ждать?

Ответ, во всяком случае, не заставил себя ждать. Не успел он выговорит эти слова, как в окно трижды постучали.

Мы переглянулись. Эджворт слегка изменился в лице; о себе я уж не говорю: я весь похолодел.

— Что это? — шепотом спросил я, и сам звук моего голоса нагнал на меня еще больший страх.

Он встал — рослый, сильный, с молодецкой солдатской выправкой — уже опять спокойный.

— Кто-нибудь шутки шутит — хочет напугать нас. А вот я его самого напугаю.

Он подошел к камину, на котором положил револьвер, взял его и взвел курок. Как раз в этот момент троекратный стук повторился, еще более громкий и настойчивый.

Смущенный Эджворт опустил револьвер и растерянно взглянул на меня. Ветер за окном выл и плакал и гудел в трубе.

Неожиданно Эджворт бросился к окну и раздвинул гобеленовые занавеси. Я последовал за ним, хотя сердце мое стучало, казалось мне, уже не в груди, а в горле.

Эджворт распахнул окно; позади него были ставни.

Только он положил руку на засов, чтобы отодвинуть его, стук повторился снова, в третий раз, быстрый, нетерпеливый.

Я схватил его за руку, чтобы удержать; он оттолкнул меня и отодвинул засов. Ставни распахнулись и защелкнулись по бокам окна.

За окном ничего не было, кроме мрака, в котором призрачно вились снежинки. О том, что кто-нибудь, желая подшутить над нами, постучался к нам, не могло быть и речи — это было ясно даже Эджворту. На расстоянии пятидесяти аршин от дома не было даже дерева, с ветви которого можно было дотянуться до окна, а окно было в третьем этаже.

В момент, когда распахнулись ставни, на меня повеяло чьим-то ледяным дыханием, более холодным, казалось мне, чем дыхание ветра. Пламя свеч отклонилось в сторону, воск потек, образовав ложбинки по бокам; занавески у кровати надулись, и я не мог отделаться от ощущения, что, распахнув ставни, мы впустили в комнату что-то невидимое, но страшное.

Эджворт закрыл окно и повернулся ко мне; лицо его было бледнее обыкновенного.

— Странно! — пробормотал он, — очень странно!

Он ждал ответа, но я молчал, и он опять спросил:

— Как вы объясните это?

— Никак, — сказал я и отошел к столу, пугливо озираясь и не смея взглянуть в сторону кровати. — Я могу объяснить это только одним — что это яacobит.

Неожиданно что-то холодное дотронулось до моего лица. Я испуганно вскрикнул.

— Что такое еще? — откликнулся Эджворт.

— Что-то коснулось моей щеки.

Не успел я выговорить это, как свои повторилось то же ощущение. Словно кто-то холодным, как лед, пальцем провел мне по лицу, от виска до подбородка.

Эджворт взглянул на меня и покатился со смеху.

— У вас снежника в волосах — она растаяла, — объяснил он и сразу успокоился. Но меня это не успокоило. Я не мог удовлетвориться таким простым объяснением; меня била лихорадка. Совершенно обессиленный, я опустил в кресло. Окно вдруг с шумом распахнулось, и ворвавшийся ветер погасил свечи.

Я вскрикнул; Эджворт выругался. Он ощупью запер окно, подбросил дров в огонь и, одну за другой, зажег свечи. Руки его слегка дрожали, и лицо было несомненно бледно. Но, тем не менее...

— Ну полно, полно, Деннисон. Какого черта вы боитесь? Нечего сказать, выискался храбрец — дожидаться привидений!

— Не говорите так! — взмолился я.

— А почему? Что, собственно, случилось? Я забыл запереть окно на задвижку, ветер распахнул его и задул свечи.

Объяснение опять-таки было самое простое, и опять-таки я не удовлетворился им. Каждым нервом я чувствовал, что в этой комнате есть что-то, чего прежде не было — что-то злое и опасное. Ведь стук в окно уж нечем было объяснить.

Я напомнил об этом Эджворту; он рассердился.

— Наверное, и это можно объяснить. Мы только не знаем, как. Только и всего.

Он положил револьвер на камин и нагнулся раздуть огонь.

— А знаете, что я вам скажу, мой друг? Здесь дьявольски холодно, в этой комнате.

— Не перейти ли нам в соседнюю? — предложил я. — Дверь можно оставить открытой. Там... там уютнее..

Он смотрел на меня.

— Ступайте, если хотите. Я взялся провести ночь здесь и сдержу слово, хотя бы все умершие якобиты пришли сюда поздравить меня с праздником.

Его насмешки только увеличивали мои страхи: он точно бросал вызов тем злым силам, которые реяли над нами. Я не мог больше этого выдержать. Если б стук в окно снова повторился, это, может быть, успокоило бы меня. Но стук не повторялся, и я остался при убеждении, что то, что требовало, чтоб его впустили, добилось своего.

Я встал, чувствуя, что колени мои подгибаются, сказал: «Ну, так я пойду» — и направился к боковой двери. Как я ни старался, проходя, не смотреть на кровать, все же мельком я увидел балдахин, и мне чудилось, что складки его шевелятся. Я вздрогнул и опрометью бросился к двери; вдогонку мне неся насмешливый хохот Эджворта.

Изумительно приятно было очутиться в светлой, тихой комнате, не населенной призраками! Я опустил в кресло у огня и на минуту успокоился. Но вскоре мысли мои перенеслись в другую комнату. Мне чудилось, что кто-то или что-то следит за мной из-за двери.

— Эджворт! — крикнул я с дрожью в голосе. — Эджворт! Здесь гораздо уютнее. Идите сюда. И принесите с собой карты.

Вместо ответа он зевнул.

— Не хочется играть. Сон одолевает. Мне и здесь отлично. Но вы лучше закройте дверь. Здесь адский сквозняк.

Вы назовете меня трусом и скажете, что такому человеку не следует браться за подобные затеи. Может быть, вы и правы. Как бы то ни было, я с удовольствием затворил дверь и вернулся к своему креслу у огня.

Вскоре пульс мой стал биться ровнее, и я устыдился своего малодушия. В это время раздались шаги Эджворта. Дверь отворилась; он стоял на пороге с графином в руках.

— Выпейте-ка рюмочку — вам это будет очень и очень полезно, дружжище. У вас взвинчены нервы и разыгралось воображение.

— А стуки в окно? Это тоже воображение?

— Стуки! Стуки! Черт бы их побрал! Пейте-ка лучше.

И он налил мне коньяку; но руки его дрожали, и часть пролилась на пол.

Я охотно выпил живительную влагу.

—Еще? — спросил он, снова поднимая графин. Я покачал головой и попросил его остаться здесь. Но он отказался наотрез.

— Дело в том, Деннисон, что и мне тоже жутко. Я вам откровенно сознаюсь. Мне страшно — в первый раз в жизни. И потому именно, вы понимаете, мне невозможно не вернуться в ту комнату. Поймите, Деннисон, постыдно *не бояться*, а бежать от того, чего боишься. Джек Эджворт не из тех, кто бежит от опасности.

Он повернулся на каблуках, прошел в гобеленовую комнату и с шумом захлопнул за собой дверь.

Я слышал, как скрипело под ним кресло, когда он усаживался у камина. Он провел грань между нами с беспощадной отчетливостью: нам обоим было страшно, но трусом оказался один я. И его признание, что и он также боится, не придало мне мужества. Наоборот, теперь я уже знал наверное, что никакие силы не заставят меня вернуться в гобеленовую комнату до наступления утра.

Жар камина в выпитый коньяк возымели свое действие: я согрелся и задремал, прислонясь головой к высокой спинке кресла. Сколько я проспал, не знаю — может быть, несколько часов, так как огонь в камине догорел, и комната остыла. Проснулся я неожиданно и вскочил, сам не зная, что меня спугнуло. Сердце мое колотилось, как безумное, я напрягал слух в трепетном ожидании — я сам не знал, чего.

И то, чего я ждал, случилось — сквозь стену гобеленовой комнаты я услышал испуганный, задыхающийся голос Эджворта, зовущий меня:

— Деннисон! Деннисон!

Я кинулся на зов — и оцепенел на месте.

За дверью послышался стук падения тяжелого тела. Я слышал протяжный стон, хрип — потом — и это было самое ужасное — негромкий, злорадный смех.

Как околдованный, я стоял, не двигаясь, впившись безумным взглядом в запертую дверь, словно в чаянии, что вот сейчас передо мной появится то, ужасное... Но в соседней комнате все было тихо. Постепенно я сбросил с себя оцепенение, приподнял щеколду и толкнул дверь. Она не под-

давалась. Что-то загораживало ее с той стороны.

Мне вспомнился рассказ сэра Джемса: «Горничная кинулась ей на помощь, но не в состоянии была отворить дверь... Может быть, ей мешало тело ее госпожи, лежавшее поперек двери».

Рука моя сама собой опустилась. Я отошел от двери, проклиная свое и Эджворта безумие. И надо же нам было выдумать такую нелепую затею!

Я взглянул и чуть не вскрикнул от испуга. Что-то выползло из-под двери — что-то черное, узкое, как лезвие столового ножа. Я смотрел, не понимая, приковавшись к нему взглядом. Темная струйка, извиваясь, поползла дальше, образовала лужицу в углублении пола... И вдруг я понял — это была жидкость, не черная, а красная, темно-красная. *Это была кровь.*

«Вот так, — мелькнуло у меня в уме, — вот точно так же, может быть, восемьдесят лет назад, кровь убитой женщины бежала струйкой из-под двери, которую не могла отворить горничная, как не могу теперь отворить я».

Призрак убийцы снова свершил свое страшное дело над призраком жертвы. Но была ли жертва на этот раз тоже *призраком*?

Мой страх за Эджворта победил, наконец, мою трусость. Взяв лампу, я вошел в коридор и с другой стороны вернулся в гобеленовую комнату. Перед дверью я остановился в нерешительности. И постучал:

— Эджворт! Эджворт!

Ответа не было — ни звука. Боясь, как бы мужество снова не покинуло меня, я схватился за ручку, и дверь распахнулась.

С порога, высоко держа в руке лампу, я видел ясно беспорядок в комнате. Стол у камина был опрокинут; свечи погасли. Карты и свечи валялись на полу, а перед дверью в стене, упираясь в нее ногами, лежал Эджворт. Руки его были раскинуты, голова скатилась набок.

Одного взгляда на его мертвенно-бледное лицо было достаточно для меня, чтобы убедиться, что он мертв. Он лежал в луже крови, но лужа эта была недвижна: очевидно, кровь перестала течь из раны.

Все это я заметил с одного взгляда. Но войти не решился и с криком кинулся бежать по коридору, к комнатам, где спали слуги.

Через пять минут я вернулся в сопровождения дворецкого и одного из лакеев, выбежавших на мой зов.

Оба моих спутника в первый момент отшатнулись от ужасной картины, представшей их взорам. Затем дворецкий нагнулся над трупом Эджворта, между тем как я светил ему. При свете лампы я видел, как дрогнули его могучие плечи; он обернулся ко мне, — и оскалил зубы: сперва я думал, что это он от страха, но затем убедился, что он смеется.

Сперва с недоумением, затем начиная понимать, я смотрел на то, что он показывал мне — это была разбитая бутылка из-под бургундского. Кровь, которую я видел на полу, была — соком винограда.

Надо ли объяснять, как это было? Эджворт, чтобы поддержать свое слабеющее мужество, осушил до дна графин коньяку и, вероятно, уже совсем охмелев, взялся за бургундское. В это время он споткнулся и опрокинул стол — этот шум и разбудил меня. В темноте, испугавшись, он кликнул меня; вероятно, хотел даже отворить дверь; но тут хмель одолел его: он свалился на пол и заснул, как убитый. И, падая, разбил бутылку. Еще чудо было, что он не поранил себя осколками.

На другой день он пытался восстановить свою репутацию рассказом о таинственном ночном госте. Но мы так осрамились и все так издевались над нами, что это было уже невозможно. В видах самозащиты, я рассказал о стуках, и это даже произвело впечатление. Но, когда осмотрели ставни, убедились, что от одного шалнера оторвалась длинная железная полоса, и буря стучала ею в окно.

И все-таки, когда я перебираю в памяти все произошедшее, я не могу удовольствоваться этим объяснением. Так жутко было в этой злополучной комнате; так отчетливо чувствовалось присутствие нездешних сил...

Кто знает, кроме естественного и простого объяснения, может быть, есть и другое...

Нелли Бриссет

**ПРИВИДЕНИЕ ХИЛЬТОНСКОГО
ЗАМКА**

Когда я унаследовал титулы и поместья дяди моего, принца фон Такселя, первое мое чувство было неудовольствие и отвращение к положению, в которое я теперь попал и к которому, несомненно, природа меня вовсе не предназначала. Всю жизнь свою прожил я артистом-бродягой и по смерти своего двоюродного брата Эбергарта фон Такселя решил, что хотя титул и должен был по старшинству перейти ко мне, поместье и большой замок могут и, несомненно, будут оставлены по завещанию моей кузине Нетте. Под этим впечатлением я и присутствовал на похоронах моего дяди и ни разу в жизни не испытал я более неприятного сюрприза, как в тот момент, когда узнал, что на меня, Эбергарта Альмериуса фон Такселя, пала вся тяжесть поместий моих предков.

Но это было еще не худшим. В своем завещании мой дядя ясно указывал на благоразумие брака между мной и кузиной Неттой. Нетта была и есть прекрасная девушка, и я нисколько не сомневаюсь, что из нее выйдет отличная жена для кого-нибудь, но вовсе не желал сделаться этим кем-то. Я глубоко сожалею о том, что мой дядя, покойный принц, счел нужным поместить как меня, так и условие относительно Нетты в свое завещание, но нисколько не виноват в этом. Нельзя же требовать, чтобы я женился на Нетте только на том довольно сомнительном основании, что отец ее не желал, чтобы титул и поместья Таксель были разделены.

Однако, так как я не имею намерения жениться ни на Нетте, ни на ком-либо другом, об этом не стоит и говорить. Достаточно будет упомянуть, что я поехал в Хильтонский замок после того, как моя тетка и кузина покинули его, и поехал не особенно охотно; опасаясь одиночества огромного замка, я уговорил друга моего Макса Рейссигера составить мне компанию.

Хильтонский замок — живописное старое здание, некоторые части которого относятся даже к седьмому столетию. Там есть мрачная, посещаемая духами сторожевая башня,

ров, темницы и картинная галерея способные привести в полный восторг любого археолога или антиквара, для меня же все эти красоты не представляют ничего привлекательного. Я признаю старинные стены и башни только в виде моделей для рисунков, и старым, посещаемым духам башням предпочитаю электричество и цивилизацию. Единственное, что доставляло мне некоторое удовольствие, была мысль о возможности пересмотреть находящуюся в замке библиотеку; и, так как это была одна из самых старинных библиотек в мире, содержащая несколько очень знаменитых произведений, я считал наилучшим осмотреть ее содержимое как можно скорей.

Итак, в следующий за моим приездом день я отправил Макса, который также был живописцем, и даже очень талантливым живописцем, в соседний лес делать наброски с натуры, обещая себе самому насладиться длинным днем в библиотеке. Первым делом надо было добыть ключ, а для этого мне пришлось пройти через одну из парадных спален. Это была большая темная комната с огромными висющими шкапами. Меня охватило любопытство осмотреть содержимое этих шкапов и я открыл один из них. Внутри его на вешалках виднелись дамские платья — странные старинные робы из полинявших материй с потемневшими вышивками. Они, по-видимому, отличались большой древностью и великолепно сохранились, но в виде этих старосветских одежд, хозяйки которых никогда уж больше не наденут их, было что-то до того жуткое, что я поспешно закрыл шкаф и скорее отправился вниз в библиотеку. Здесь, действительно, представлялось зрелище, способное привести в восторг всякого любителя книг. Редчайшие старые издания, неоценимые рукописи, странного вида пожелтевшие фолианты и молитвенники, переплетенные в золото и украшенные драгоценными камнями, лежали один поверх другого. Все это было перемешано и, принимая во внимание огромную ценность, поразительно дурно содержано. Я только что окончил осмотр большого ящика с книгами, который стоял в оконной нише, когда, оглянувшись кругом, заметил в одном углу комнаты своеобразный старый желез-

ный ящик, окованный и запертый странными бронзовыми украшениями, и, ничего не зная о нем, принялся открывать его. Крышка была очень тяжела, что же касается самого ящика, его невозможно было даже сдвинуть с места, что очень поразило меня, так как ящик был совершенно пуст. Внутренность была обложена медью, на которой виднелись рельефные виноградные листья, и, желая рассмотреть их получше, я положил руку на дно ящика и облокотился на нее всей тяжестью. К моему удивлению, я почувствовал, что что-то сдвинулось и, покачав обивку, убедился, что я дотронулся до пружины и что дно ящика вынимается.

Я вынул медную обивку, и под ней открылось маленькое углубление. В этом углублении лежал коричневый кожаный том с серебряными застежками. Я поднес его к свету, открыл его и заметил, что содержимое написано на тонком пергаменте и, в противоположность остальным фамильным рукописям, на древнегерманском языке. Я прочел несколько строчек, признаюсь, с большим трудом, потому что письмо было мелкое и стиль малознакомый мне, когда внезапно, к моему изумлению, мне стало ясным, что я читаю не что иное, как потерянные рукописи Альмериуса-алхимика, принца фон Такселя.

Альмериус-алхимик, быть может, самая интересная фигура в истории Такселя. Он правил в начале двенадцатого столетия и был замечательно умным человеком, с очень передовыми взглядами для своего столетия. Вполне естественно, что окружавшие считали его в союзе с дьяволом. В остальных рукописях нашего дома упоминается о том, что он написал историю принцев Такселя, но история эта считалась потерянной в течение многих столетий, то есть со времени смерти писавшего до того момента, когда я открыл тайну подвижной обивки ящика. На эту историю всегда смотрели, как на очень драгоценное произведение и утрата его считалась серьезным семейным несчастьем, потому что, по традициям, Альмериус проследил род Такселей гораздо дальше в глубь веков, чем даже мог себе представить кто-нибудь из позднейших историков, и половина тайн



семьи, по слухам, содержалась в этой книге. Куда он девал это произведение, или не было ли оно уничтожено им, никто не знал; но подобно тому, как собственная его жизнь была тайной, оставалась тайной и участь его рукописи. Предание гласило, что однажды вечером Альмериус-алхимик вошел в библиотеку и заперся в ней, по своему обыкновению. На следующее утро комната все еще оставалась закрытой и, так как на окрики перепуганных слуг не слышалось никакого ответа, двери пришлось взломать. Библио-

тека оказалась пустой, нигде не было видно ни малейшего признака беспорядка, и окна были все тщательно заперты с внутренней стороны.

Казалось совершенно невозможным, чтобы кто-либо вышел из комнаты, однако Альмериус, несомненно, исчез и о нем более никто и никогда не слышал. Ему наследовал его племянник — сам он никогда не был женат, так как ни одна приличная девица не была достаточно отважной, чтобы взять себе такого мужа — и в народе господствовало всеобщее убеждение, что участь его была не лучше того, что он заслужил, принимая во внимание его нрав, другими словами, что он продал себя дьяволу и дьявол взял свою собственность.

Но теперь у меня в руках, несомненно, были потерянные рукописи Альмериуса. Я тщательно рассмотрел книги и пересчитал листки; их было сто восемьдесят, все были мелко исписаны и скреплены вместе; кроме того, там было еще около двадцати нескрепленных листков, написанных тем же почерком, носящих на первой странице заглавие; «Мраморное сердце». Это заглавие привлекло мое внимание и я там же и тотчас же принялся читать документ.

Он начинался со странной диссертации о различных способах бальзамирования, которую я пропущу, как не особенно интересную и приятную. Альмериус, очевидно, основательно изучил этот предмет и, по-видимому, сильно интересовался им. Перечислив различные приемы этого искусства, которые были в ходу у египтян, он упомянул, что в конце шестого столетия один итальянский врач открыл способ, при котором набальзамированные тела приобретали крепость мрамора. Способ этот отличался таким совершенством, что действие его сохранялось в течение столетий, но не было никаких указаний, по которым можно было бы думать, что метод этот практикуется кем-либо, кроме самого этого врача, применявшего его в виде опыта на мелких животных. Далее Альмериус трактовал о том, что люди «изнеживают и холят свои бранные тела в продолжение всей жизни, очень мало заботясь о том, что произойдет с ними затем», после чего замечал, что интересная проблема относительно при-

менения упомянутого процесса бальзамирования в настоящее время занимала его собственные мысли. Следуя за историей дома Таксель, он открыл, что «Эбергарт, принц Такселя, правивший страной в середине седьмого столетия, имел единственную дочь, по имени Сафирия, отличавшуюся поразительной красотой, что дочь эта умерла в ранней молодости, и Эбергарт горько оплакивал ее и выписал бальзамировщиков с юга, чтобы набальзамировать ее тело, что процесс бальзамирования был произведен по новому способу, изобретенному на юге — очень редкому способу, знакомому весьма немногим». Эта Сафирия была погребена под замком в каком-то месте, на которое история не сохранила никаких указаний, но Альмериус выражал свое мнение, что «это должно было быть под местом, где расположена эта комната (библиотека), так как это самая древняя часть замка, основанная, как я имею основание предполагать, еще в седьмом столетии». Какое это было основание — он не говорил и, так как это предположение отодвигало основание замка назад на целых два столетия, я плохо поверил его теории; но он продолжал, рассказывая, что могила Сафирии была очень богата и прекрасна и находилась в подземной часовне, специально выстроенной для нее и запечатанной, и на входе в эту часовню было вырезано мраморное сердце, чтобы служить воспоминанием о ней и о любви, которую ее отец, принц Эбергарт фон Таксель, питал к ней. Алхимик, по-видимому, нисколько не сомневался, что эта метода бальзамирования «по способу, открытому на юге, очень редкому способу, знакомому лишь немногим», была способом, открытым итальянским врачом, а также и в том, что мраморное сердце и могила Сафирии все еще существовали, и выражал также намерение попытаться открыть ее и проверить истину этого предания.

Остальные отдельные листки были посвящены подробностям его предполагаемых поисков. В течение некоторого времени он, по-видимому, не мог найти никаких следов мраморного сердца и почти начал терять надежду когда-нибудь увидеть его. Затем, в один прекрасный день, он дрожащим от волнения почерком и возбужденным тоном набросал за-

метку, которая, будучи переведена с своеобразного германского наречия, гласит приблизительно следующее:

«Я открыл мраморное сердце и открыл его в том именно месте, где предполагал, то есть под этой комнатой. С левой стороны, в углу, ближайшем к камину, есть подвижная доска, которая легко вынимается, и когда она вынута, можно заметить, что и в соседних досках вырезано по полукруглому куску; когда вынуты и эти куски, образуется отверстие, через которое один человек может спуститься по узкой лестнице в сводчатые подземелья, расположенные под замком, где в десяти шагах от подножия лестницы лежит мраморное сердце. Я уже осмотрел все это, а сегодня ночью спущусь вниз, подниму плиту с мраморным сердцем и сойду в могилу. Спущусь я следующим образом: я перетащу свой письменный ящик с фальшивым дном к месту, где доски вырезаны, выну эти доски и положу их на дно ящика. Затем я сложу свои книги, как клал и раньше и, опускаясь, протащу ящик так, чтобы он прикрывал отверстие; ни один человек не должен узнать места моего пребывания, потому что мне, может быть, придется отсутствовать несколько часов. Затем я проникну в могилу и осмотрю работу итальянских бальзамировщиков; это поистине удивительное изобретение, и говорят, что если какой-нибудь человек будет набальзамирован подобным способом при жизни, он так и проснется целым и невредимым через несколько столетий, да, проснется, даже если ему придется пролежать так до дня Страшного суда, в какое время да вступятся все добрые христиане за душу Альмериуса фон Такселя».

Так заканчивалась рукопись. Казалось, точно записывая последнюю фразу, алхимик предчувствовал, что скоро наступит время, когда ему понадобится заступничество всех «добрых христиан».

Конечно, у меня не осталось ни малейшего сомнения относительно участи моего отдаленного предка; он опустил-ся в могилу и или задохся от скопившихся там газов, или был охвачен внезапной болезнью, или попросту не сумел найти обратной дороги и умер с голоду под самыми нога-

ми своих друзей и слуг. Это была ужасная вещь, но вещь не более странная, чем многое случавшееся в те дни. По крайней мере, налицо оставался факт, что в эту же ночь — что совпадало с датой его исчезновения, обозначенной в рукописях дома Таксель — он вошел вечером в библиотеку, а к утру бесследно исчез и что он не ушел из комнаты ни через окна, ни через двери. Из этого следовало, что он должен был спуститься по тайному ходу, прикрытому письменным ящиком, и никогда уж не поднимался оттуда.

Я тщательно убрал переплетенный кожей том и осмотрел дно ящика. Оказалось, что вся медная обшивка вынимается, но под ней не было ни малейшего признака досок или чего-либо иного, и только виднелась темная дыра, спускавшаяся глубоко вниз. Я не мог тогда же сделать более подробных исследований, потому что услышал голос Макса, вернувшегося с своей прогулки и звавшего меня из коридора. Я поспешно закрыл ящик, отпер двери библиотеки и встретил его у самого порога с полотном в руках.

— Да неужели же ты копался в этих старых пыльных книгах с тех самых пор, как я ушел? — спросил он, немного удивленный. — Пойдем-ка лучше со мной. Со мной случилось самое странное приключение. Я сел, чтобы нарисовать тот старый дуб, на котором ястреб свил себе гнездо, и вдруг мне пришло в голову вот это. Я положительно не мог нарисовать дерева. Я прямо-таки чувствовал, будто кто-то заставляет меня рисовать вот это. Как тебе нравится мой рисунок?

Он показал мне холст, на котором виднелся неоконченный набросок головки какой-то девушки. Она смотрела назад через плечо, и длинная вуаль перевивала ее волосы и обрамляла лицо. Черты ее, выделявшиеся довольно смутно, были совершенны, и в колорите наброска виднелась какая-то странная холодная красота, оттененная еще больше золотым узлом волос и голубой вышивкой, едва видневшейся на краях вуали.

— Это прелестно, — сказал я, — но ты, наверное, припомнил это откуда-нибудь.

Он покачал головой.

— Я никогда не видел ничего подобного во всю жизнь и никогда раньше и не думал об этом. Нет, — и он засмеялся как-то тревожно, — здесь у тебя творится что-то сверхъестественное. У тебя тут, наверное, есть где-нибудь привидения?

— Целая куча, — ответил я небрежно. Затем я переменил разговор, и мы отправились обедать. Но мне очень не понравилась мысль об этом приключении в лесу.

II

На следующее утро Макс принялся настаивать на том, чтобы мы вместе предприняли экспедицию к месту его приключения, как он продолжал это называть. Мы отправились в лес и достигли дуба с ястребиным гнездом — места, откуда открывался великолепный вид на замок с южной его стороны. Макс захватил с собой бумагу и акварельные краски и, когда мы сели под дерево, он предложил нарисовать представлявшуюся картину.

— Это здание имеет такой величественный вид, — заметил он. — Я положительно не могу понять, почему ты чувствуешь к нему так мало привязанности; но ведь ты всегда был странным существом, Эбергарт, как, верно, и сам знаешь.

Это мнение несколько удивило меня и я обратился к нему с вопросом:

— Почему странным?

Он колебался с минуту.

— Ах, не знаю почему, но у тебя всегда были странности. Все говорят... — и он запнулся.

— Кто эти «все» и что они говорят?

— Разные люди. Все считали тебя... ну, немного эксцентричным.

Я ничего не ответил и начал свой набросок.

— Ты... ты не обиделся на то, что я сказал? — спросил Макс немного спуща.

— Ничуть. Я, вероятно, действительно немного эксцентричен.

— Твой дядя...

— О, этот был совершенно сумасшедшим, — ответил я откровенно. — Конечно, ради чести семьи его всегда считали здоровым и он считался нормальным, когда сделал самую идиотскую вещь во всей жизни, я подразумеваю его завещание. Но были моменты, особенно при конце его жизни, когда он совершенно терял рассудок. В нашей семье есть наследственное предрасположение к безумию.

— Как это должно быть неприятно для тебя, — пробормотал Макс задумчиво.

Я засмеялся.

— Я об этом никогда не задумываюсь, это кажется совершенно естественным. Фон Таксели отличаются или своим выдающимся умом, или своим безумием, или — ведь ты слышал об Альмериусе-алхимике?

— Он продал себя черту?

Странный звук, напоминающий раскат отдаленного грома, заставил меня остановиться, прежде чем ответить.

— Да. Кажется, где-то гремит гром?

— Разве? Я его не слышал. Да и небо совершенно ясно. Альмерий исчез, не правда ли?

— Да, и я только что открыл...

Тот же странный звук снова прервал меня.

— Что ты открыл? Почему ты не продолжаешь?

— Мне показалось, что я что-то слышал. Я только что открыл потерянную...

В эту минуту раздался страшный треск, совершенно заглушивший мой голос.

— Дело становится серьезным, — заметил я, когда снова мог заставить расслышать свой голос. — Начинается гроза. Нам лучше скорее вернуться в замок.

Макс смотрел на меня каким-то недоумевающим взглядом.

— Что с тобой сегодня, Эбергарт? Нет никакого грома, никакой бури. Что ты слышал?

Теперь настала моя очередь удивиться.

— Ты хочешь сказать, что ничего не слышал?

— Ровно ничего.

Я снова смолк и взглянул на свою работу. Мне стало ясно, что лучше не упоминать ни об Альмериусе, ни о моем открытии.

Макс лежал на траве, смотря на переплетшиеся над его головой ветви. Немного спустя он встал, подошел и заглянул через мое плечо.

— Тебе это нравится?

С минуту он промолчал. Я поднял глаза и заметил, что он уставился на меня с каким-то ужасом.

— Боги небесные! — воскликнул он каким-то странным голосом. — И ты также нарисовал ее?

Я быстро повернулся к моему наброску. Быть может, я не особенно внимательно исполнял его, быть может, я был занят мыслями о странном шуме, прервавшем мое сообщение об Альмериусе, но все же налицо оставался факт, что я нарисовал не замок Таксель, но женское лицо, смотревшее боком с бумаги.

— Это очень странно! — сказал я как-то бессмысленно.

Макс прорычал возмущенным тоном:

— Странно! Это более чем странно! Это то же лицо, которое я нарисовал вчера.

Я стал пристальнее рассматривать набросок и убедился, что слова его были правдивы — это было то же самое лицо. Я отложил кисти и встал с места.

— Пойдем домой, — заметил я. — Ты прав, Макс, это более чем странно.

III

В течение приблизительно недели в Такселе не произошло ничего важного. Мы больше не рисовали, и я мало думал о таинственных результатах задуманного мной наброска замка; но не следует предполагать, что я забыл о нем, или об открытии потерянных рукописей, или об учас-

ти Альмериуса-алхимика. Мне очень хотелось, хотя вместе с тем я и наполовину боялся, проверить истину его истории о мраморном сердце, но исследование подземных сводов представляло массу затруднений. Начать с того, что я был удержан таким странным образом от сообщения Максу этой истории. Возможно, что меня сочтут суеверным, но после того случая под дубом мне никогда и не снилось попытаться на вторичное объяснение с ним; одному же привести мой замысел в исполнение было крайне трудно, принимая во внимание странное исчезновение Альмериуса, потому что я не имел ни малейшего намерения следовать по его стопам.

Однако мысль об экспедиции в поисках мраморного сердца имела для меня необыкновенное очарование; она не давала мне уснуть по ночам и поглощала мое внимание в течение дня. Макс тоже казался необычайно рассеянным и молчаливым, и на лице его, всегда отличавшемся беззаботным, добродушным видом, появилось странно растерянное выражение. Я очень удивился этому необычному для него настроению, но я мало заботился об его причине.

Итак, однажды ночью, сделав все приготовления, какие только я мог сделать, не возбуждая ничьего внимания, я отправился в свою комнату с твердым намерением разрешить до утра задачу, которая так смущала Альмериуса, и открыть или, по меньшей мере, опровергнуть существование мраморного сердца. Я дождался, пока в старом замке воцарилась полная тишина, и затем прокрался из своей комнаты, запер дверь на замок, спрятал ключ в карман и бесшумно спустился в библиотеку. Здесь я запер двери и окна и принялся открывать фальшивое дно письменного ящика Альмериуса.

Алхимик, наверное, был тоньше меня, потому что мне стоило немалого труда пролезть сквозь отверстие на узкую лестницу, ведущую в виднеющийся внизу мрак. Затворив крышку ящика и повесив фонарь на шею, я осторожно стал спускаться в подземелье.

Это было огромное и страшно молчаливое пространство бездыханного мрака, который становился еще темнее

от слабого мерцания моего фонаря. Воздух был в высшей степени сухой и свежий, и я решил, что где-нибудь должен был существовать еще вход в подземелье, кроме входа из библиотеки. Я тщательно отмерил десять шагов по прямо-му направлению от подножия лестницы, а затем поставил фонарь и начал рассматривать плиты, находящиеся под моими ногами.

Камень был покрыт толстым слоем пыли и мелкого песка. Я сгреб все это в сторону и, вынув из кармана влажную тряпку, которую захватил с этой целью, принялся осторожно тереть плиту на том месте, которое казалось гладким и высеченным из одного куска. По мере того, как я тер, постепенно выступал контур этого камня. Я стер еще немного песка и открыл, что стою на самом предмете моих поисков — мраморное сердце лежало под моими ногами!

В течение нескольких мгновений мой неожиданный успех едва не заставил меня задохнуться от волнения. Затем я достал те инструменты, которые мне удалось захватить с собой, и начал поднимать массивный камень.

Он был очень тяжел, но, наконец, мне все же удалось поднять его и я сдвинул его назад на грубый пол подземелья. Передо мной виднелась вторая лестница. Я спустился по ней, рассматривая по пути странную резьбу на стенах, и очутился в маленькой комнате, украшенной грубо высеченными на стенах фигурами и ангелами странной формы. В дальнем углу ее в стене виднелось отверстие, сквозь которое я прошел, и, подняв повыше свой фонарь, сразу догадался, что я достиг могилы Сафирии.

Это была просторная и высокая зала, потолок которой, весь раскрашенный различными фигурами и арабесками, поддерживался гигантскими каменными изваяниями. С одной стороны виднелся большой каменный алтарь, над которым поднималось высокое распятие, и перед ним стоял странный, окованный бронзой ящик, у каждого угла которого виднелись высокие подсвечники. Возле этого ящика, на кресле, стоящем у ступеней алтаря, сидела фигура мужчины.

Мужчина этот был одет в темные одежды, с кожаным

поясом вокруг талии. У него были благородные черты лица и длинная белая борода опускалась почти до колен. Одна рука покоилась на ручке кресла, и я заметил крупный опал, блестящий на ней. У ног мужчины лежал фонарь, несколько инструментов и кинжал. Я не сомневался ни на минуту, кого вижу перед собой, и странный ужас охватил меня. Поза, внешний вид, платье — все было так жизненно и, однако...

Порыв ветра пронесся со ступеней, лежавших у меня за спиной, и заставил фонарь мой замигать. Ветер этот подхватил край платья алхимика и оно рассыпалось в пыль. Медленно у меня на глазах фигура моего мертвого предка исчезла из кресла и обратилась в маленькую кучку пыли, лежавшую у подножия алтаря; опаловое кольцо, потерявшее опору, покатилося по полу к самым моим ногам.

Машинально я поднял его и надел на палец. Затем я наклонился и стал рассматривать окованный бронзой ящик.

Он был затворен задвижками и застежками с внешней стороны. Я осторожно открыл их и попытался приподнять крышку. Она была легка, но я колебался некоторое время, прежде чем решиться открыть ее. Что я там найду? Что нашел Альмериус? Принцессу Сафирию во всей ее красоте или несколько иссохших костей? Тайну итальянских бальзамировщиков или неудачный опыт шарлатана?

Наконец я поднял крышку и простоял с минуту в глупом удивлении. В бронзовом гробу, завернутая в богатые одежды, лежала фигура девушки. Ее блестящие волосы шевелились от сквозного ветра, дувшего в дверь, и я наполовину боялся увидеть ее исчезающей, как исчез Альмериус. Но ничего подобного не случилось. Склонившись, я дотронулся до ее щеки — она была холодна и тверда, как мрамор. И, рассматривая внимательней прекрасные, холодные черты, я убедился, что лицо, которое нарисовали мы оба, и я и Макс, сидя под большим дубом, было лицом принцессы Сафирии.

К этому времени я уже переставал удивляться чему бы то ни было. Я сильнее всего на свете желал рассмотреть работу итальянских бальзамировщиков и для этого попытал-



ся вынуть принцессу из ее гроба. К моему удивлению, я заметил, что она достаточно легка, чтобы ее с удобством можно было приподнять, и я вынул ее и положил на пол. Ее одежды, вероятно, также были подвергнуты какому-нибудь процессу, способствовавшему их сохранению, потому что они казались совершенно прочными — золотое шитье не потемнело и драгоценные камни сверкали при свете фонари. В общем, весь ее вид был удивительно жизненным, румянец все еще играл на ее щеках и устах, и тело имело почти упругий вид. Когда она лежала так, мне внезапно пришло в голову, какую восхитительную картину она представила бы. Не нарисовать ли мне ее и дать миру какую-нибудь память о красоте, которую наука так удивительно сохранила? Мысль эта показалась мне очень удачной, но я, конечно, не мог нарисовать ее здесь, в подземелье. Принцесса должна быть перенесена в мою мастерскую и, прини-

мая во внимание поздний час, это нетрудно было сделать так, чтобы никто этого не видел. Раз она очутится там, я всегда мог запереть дверь на ключ и носить его при себе.

Итак, я взял мертвую Сафирию на руки и медленно направился обратно в библиотеку. Мне было довольно трудно протащить ее через дно письменного ящика Альмериуса, но как только это было совершено, остальное оказалось очень легким. Я достиг мастерской, прикрыл принцессу простыней, запер двери на ключ и отправился спать.

IV

В течение нескольких дней мне постоянно что-нибудь мешало посетить свою мастерскую; но, к счастью, я так часто и раньше держал ее двери на запоре, что это обстоятельство не возбудило ничьего внимания. Макс также был занят чем-то другим. Я видел его почти исключительно за обедом, и тогда он говорил довольно мало и бессмысленно. Я спросил его, не рисует ли он чего-нибудь, но он уклонился от ответа; я также намекнул, что он, быть может, находит жизнь в замке скучной. Но это последнее он принял отрицать со страстностью, показавшейся мне даже немного преувеличенной. Однако я не продолжал этого разговора и предоставил его самому себе. Я также воспользовался первым удобным случаем, чтобы на время отложить другие дела и отправиться в свою мастерскую.

Сафирия все еще лежала под простыней, которой я покрыл ее в первую ночь. Я снял эту простыню, привел в порядок ее одежды и переставил свой мольберт на удобное место. Затем я набросал ее слегка на полотно, потому что с первого взгляда успел решить, в каком виде она будет эффектнее всего, и внезапно вспомнил один состав для рисования, который передал мне Макс с советом испытать его. На полке за принцессой стояла большая бутылка этого состава, и я пошел достать его. Но неловким движением я опрокинул бутылку, вылив все содержимое на нее.

Первым моим чувством была сильная досада. Я схватил простыню и начал стирать сильно пахучий состав с прекрасных одежд Сафирии. Часть состава попала ей на руку, и я стал обтирать ее. К моему удивлению, под моим прикосновением тело стало упругим и мягким — застывшие пальцы ослабели и приняли естественную позу.

С минуту простоял я так с простыней в руках, растерянно смотря на состав, сбегавший на пол. Затем новая мысль мелькнула в моей смущенной голове. Я взял мокрую простыню и начал растирать плечо принцессы, с совершенно тем же результатом. Я случайно нашел реактив методы итальянского бальзамировщика.

Теперь оставалось сделать только одно. В мастерской было значительное количество этого состава, а также старая ванна, которая оказывала мне разнообразные услуги. В эту ванну я положил принцессу, как она была, и налил на нее весь состав, который только мог найти.

Я оставил ее в таком положении в течение десяти минут, затем положил на пол и начал растирать. Сперва я не нашел ничего особенного, кроме того факта, что окоченелость ее членов исчезла. Но внезапно, совершенно неожиданно для меня, рука, которую я растирал, зашевелилась, глаза открылись, и она оттолкнула меня и приподнялась, осматриваясь с выражением удивления, смешанного с ужасом.

Я с минуту простоял на коленях возле нее, смотря широко открытыми глазами, совершенно недвижимый от ужаса. Затем комната начала кружиться вокруг меня, свет то вспыхивал, то гас у меня в глазах, и я упал на пол без чувств.

Я, вероятно, пролежал в бесчувственном состоянии несколько часов, потому что, когда открыл глаза, в комнате сияло электричество. Под мою голову была положена подушка, одеяло прикрывало меня, и у ног моих, опершись о мольберт, стояла Сафирия. Я увидел с некоторым удивлением, что она переменяла платье. Роскошные одежды исчезли, и она была одета в платье из странной серебряной парчи и с низко вырезанным воротом, все украшенное жем-

чугом и потемневшими серебряными шнурами. Ее блестящие волосы все были подобраны вверх и скреплены нитями жемчуга, и жемчуг также украшал маленькие туфельки, выглядывавшие из-под древнего фасона юбки. Если она казалась прекрасной в подземелье, то во сколько раз прекрасней была она теперь, с румянцем на склоненном лице и блеском ожидания в направленных на меня глазах.

— Вам лучше? — спросила она наконец.

Ее выговор был странным и необычным, но голос звучен и манеры приятны.

— Да, — ответил я слабо.

— Я думала, что вы умерли, — заметила она серьезно. — Вы так долго лежали без всякого движения. Я сильно испугалась.

— Сюда входил кто-нибудь? — спросил я с волнением.

— Молодой человек постучал в двери, я отворила их, а он убежал. Тогда я пошла за ним и встретила женщину и... и она тоже убежала. Затем я нашла большую комнату, с... с какими-то висящими ящиками и вот этим. — Она посмотрела на свое платье. — Там их было так много и такие красивые. Мне они понравились гораздо больше вашего, — добавила она, рассматривая меня критикующим взглядом, — этот черный цвет так мрачен. Почему вы не носите лат, как мой отец? И почему вы так странно говорите? Вы говорите совсем не так, как все другие. Вы... вы совсем не похожи на тех людей, которых я знаю.

Она остановилась, рассматривая меня, как рассматривают какое-нибудь новое невиданное насекомое.

— Но вы мне нравитесь, — добавила она, очевидно, стараясь пощадить мои чувства. — Вы положительно красивы. Я люблю ваши глаза. Они очень похожи на мои. — Тут она премило покраснела. — Я не хочу этим сказать, что мои так уж хороши, — поторопилась она объяснить, затем остановилась в некотором смущении, по-видимому, опасаясь, не сказала ли она слишком много или слишком мало.

— Как вас зовут? — спросила она внезапно.

— Эбергарт Альмериус фон Таксель.

Ее глаза приняли изумленное выражение.

— Эбергарт фон Таксель? Но ведь существует только один — и это мой отец!

— Однако это мое имя.

— Но это имя моего отца, — повторила она нетерпеливо, — моего отца — принца Такселя.

Я поднялся с пола и стал лицом к лицу с ней.

— Я принц фон Таксель, — сказал я.

Ее нежные брови сдвинулись, и уголки глаз задрожали. Она имела такой детский и жалобный вид, хотя ей и было больше тысячи лет.

— Я ничего не понимаю, — прошептала она.

Я не знал, как мне разъяснить ей.

— И не старайтесь, — сказал я успокоительно, — вы также были больны, принцесса.

— Да, — согласилась она каким-то сонным голосом. Затем протянула мне маленькую булавку с драгоценными камнями. — Не уколете ли... не уколете ли вы меня вот этим? — попросила она.

Я смотрел на нее в недоумении.

— Чтобы разбудить меня, — объяснила она.

Я засмеялся, хотя она казалась очень серьезной, и уколол руку, которую она мне протянула, стараясь не сделать ей больно. Лицо ее стало еще более жалобным, чем раньше.

— Я, действительно, не сплю, — сказала она, — и, однако, вы говорите, что вы принц фон Таксель и что ваше имя Эбергарт. Я не помню, кто вы. Вы должны простить мне, вы ведь знаете, что я была больна.

— Вы не должны об этом думать; вы никогда раньше не видели меня.

— Но где я?

— В Хильтонском замке.

Она топнула по полу своей маленькой ножкой.

— Но это неправда. И вы мне совсем не нравитесь — вы говорите неправду. Разве я не знаю своего собственного дома? Это не Хильтонский замок: когда у нас было вот это? — и она указала на мой мольберт. — Или это большое окно или этот волшебный свет, который начинает сверкать, ког-

да: дотронешься до стены? И вы не Эбергарт фон Таксель и не принц; вы, вероятно, какой-нибудь разбойник, похитивший меня. Не подходите ни на шаг ближе или я закричу!

И, хотя я даже отодвинулся на несколько шагов, она все же закричала.

Я убеждал ее в своей невинности во всем, в чем она меня обвиняла, и постепенно ее крики прекратились.

— Вы совершенно уверены, что не причините мне никакого вреда? — спросила она все еще с сомнением на лице. — Я не вижу вокруг ни кинжалов, ни каких-либо орудий пытки, но вы все же можете... мой отец всегда сам поджаривает своих пленников. Мне никогда не нравилась эта мысль, — добавила она извиняющимся тоном, — но он говорит, что это делается во славу Божию, поэтому я думаю, что, вероятно, так и нужно. А вы тоже их жарите?

— Конечно, нет! — воскликнул я, возмущенный.

— Вы имеете совершенно обиженный вид. Аббат Зельтцена также постоянно жарит их, и я уверена, что отец мой всегда прав... исключая...

Она покраснела и глаза ее опустились.

— Исключая?.. — спросил я.

Она вздохнула и робко взглянула на меня из-под длинных ресниц.

— Исключая того... что он не позволил мне выйти замуж за моего бедного дорогого Максимилиана, — прошептала она. — Но, конечно, он был беден... Почему это мужчины всегда бедны, когда они симпатичны?

— Вы его очень любили?

— Очень, — ответила она, словно раздумывая. — Вы его знаете?

— Нет.

— Мой отец изгнал его из Такселя. Вы не знаете, где он теперь?

Я подумал, затем пришел к заключению, что это обстоятельство мне совершенно не известно.

— Нет, принцесса.

Она вздохнула и окинула комнату глазами.

— Вы, по-видимому, очень мало знаете. А теперь вы можете позвать моих камер-фрейлин.

— Ваших камер-фрейлин, — ответил я смело, — здесь нет. Вы одни, отданы под мое покровительство, пока вы не поправитесь совершенно, принцесса. Вы также не должны покидать этой комнаты. Я принесу вам подходящей пищи, теплых одеял, и вы должны остаться здесь.

Она задорно посмотрела на меня, но мой властный вид покорила ее сопротивление.

— Я полагаю, что вы врач, — заметила она с некоторым неудовольствием. — Помните, я не стану глотать ничего противного. И если я должна оставаться здесь, мне нужно какое-нибудь развлечение. Принесите мне лютню и спойте мне что-нибудь, если умеете. Или позовите миннезингера; полагаю, вы это можете сделать ?

— Нет, это совершенно невозможно!

Она пожала плечами и вздрогнула от отвращения под своей серебряной парчой.

— Вы очень странный человек. Но вы мне все-таки нравитесь. Вы мне принесете лютню?

— Попытаюсь, принцесса.

И я покинул ее.

Замок был очень молчалив, когда я спускался с большой лестницы, и, по-видимому, никто в нем не двигался. Я направился в столовую. Стол был накрыт для обеда, и серебро и хрусталь оживляли всю комнату и украшали мрачные стены, откуда из своих золотых рам смотрели чуждые мертвые лица с глазами, которые, казалось, видели не настоящее, а прошедшее. Я оглянулся кругом, отыскивая слуг, но их нигде не было видно. Я с раздражением потянул за шнурок звонка, — никто не ответил. Заинтригованный и чрезвычайно недовольный этой необычайной невнимательностью, я вышел из комнаты, желая отыскать хоть кого-нибудь, и в коридоре встретил Макса.

Лицо его было страшно бледно, и глаза словно хотели выскочить из головы. Он протянул одну дрожащую руку и дотронулся до моего плеча; это движение, по-видимому, успокоило его.

— Это ты? — спросил он, задыхаясь. — Действительно ли это ты, Эбергарт?

— Ну, конечно! Кем бы я мог быть иным?

Но он не слышал меня.

— Слава Богу, что ты вышел живым из этой комнаты, Эбергарт! — воскликнул он, начиная сильно дрожать. — Ты видел ее, ты видел ее, Серебряную Даму?

— Да, — сказал я смело. — Я ее видел. Это одна из моих прабабок. Я часто вижу ее. Дорогой мой Макс, ты должен превозмочь эту смешную нервность, — я ведь говорил тебе, что здесь куча всяких привидений. Они, так сказать, друзья семьи. Я чувствовал бы себя очень одиноким, если бы от времени до времени не видел некоторых из них. Серебряная Дама — очень веселое привидение. Я представлю тебя ей, если пожелаешь.

Я никогда не забуду ужаса и упрека, отразившегося на его лице. Он приблизился и пристально посмотрел мне в глаза.

— Как ты можешь говорить так?

Я видел, что взял не тот тон по отношению к нему. Взяв под руку, я отвел его обратно в столовую.

— Слушай, Макс, — начал я серьезно, — я, право, очень огорчен, что ты был так напуган, но если ты поднимешь такую историю, все мои слуги разбегутся, а у меня нет ни малейшей склонности к домашним работам. Ради меня, постарайся обратить все это в шутку и иди. обедать.

Он покачал головой.

— Я не могу обратить этого в шутку, Эбергарт.

— В таком случае, заешь свой испуг, запей его или вообще сделай что-нибудь разумное.

— Это ужасное привидение может прийти сюда в любую минуту.

— Вовсе нет.

— Она придет, я знаю, что она придет. Я не боюсь ничего естественного, Эбергарт. Ты ведь сам видел...

Я воспользовался случаем и, отвернувшись от него, с раздраженным видом направился к столу.

— Я видел, что ты болван, Макс, и большинство людей назвало бы тебя и трусом к тому же. Я не назову тебя так; но я от души тебя жалею. Что же касается того, чтобы оставаться здесь и позволить себя мучить праздными фантазиями — я этого не намерен делать. Я возьму свой обед в мастерскую и спокойно съем его там. Может быть, Серебряная Дама составит мне компанию. Тебе же советую съесть или выпить чего-нибудь успокаивающего нервы и отправиться спать.

Я наложил все, что мне попало под руку, на пару тарелок, поставил их на поднос, схватил ближайшую бутылку вина и спокойно принялся выбирать два стакана. Я это сделал из желания досадить Макс, а также потому, что и сам проголодался.

— Неужели ты действительно хочешь сделать это? — спросил он, наблюдая за мной.

— Да, я намереваюсь пообедать с Серебряной Дамой. Спокойной ночи, Макс. Мы будем пить за возврат твоего рассудка.

Я застал Сафирию в нетерпении от моего долгого отсутствия. Ее нетерпение перешло в детский восторг при виде вкусных вещей, которые я принес ей. Было забавно видеть, как она пробует, расспрашивает и снова пробует; как мне кажется, великое кулинарное искусство несколько изменилось с седьмого столетия.

— Вы настоящий колдун! — смеялась она. — Я уверена, что аббат из Зельтцена изжарил бы вас! Вы принесли лютню?

Мы окончили обед, и я передал ей гитару, которую захватил из гостиной. Она осторожно прикоснулась к ней, потом покачала головой.

— Все, что у вас здесь есть, какое-то странное! — воскликнула она капризным тоном. — Нет, я устала. Спокойной ночи.

Она встала с видом королевы, отпускающей верного подданного, и протянула мне руку.

— Вам здесь будет удобно, принцесса? — осведомился я. Она взглянула на кучу одеял и диванных подушек.

— О да, — заметила она небрежно.

Я склонился над протянутой мне рукой и поцеловал ее. Подняв голову, я увидел, что мой поступок удивил ее.

— Конечно, и Максимилиан это делал, — пробормотала она, словно стараясь извинить мой поступок. — Бедный Максимилиан !

Замыкая дверь мастерской и направляясь в свою комнату, я также повторял: «Бедный Максимилиан!»

V

На следующий день я нашел Макса очень молчаливым и задумчивым. Ни он, ни я не упоминали больше о Серебряной Даме, и я провел большую часть дня в своей мастерской. Слуги при встречах со мной смотрели на меня как-то робко и поспешно проходили мимо, словно охваченные ужасом. Этот страх, овладевший ими, давал мне некоторую надежду сохранить в тайне существование Сафирии, по крайней мере, до отъезда Макса. У меня было странное предчувствие, что если Макс и Сафирия встретятся, то непременно произойдет какая-нибудь катастрофа. Итак, я принялся рассказывать ей бессовестные небылицы и небывалые легенды в том смысле, что замок был занят в настоящее время беспощадными врагами, которые изжарят, сварят или испекут ее, если им удастся ею овладеть, и которые вечно жаждали ее крови. Все это она выслушала с очаровательным видом полного доверия ко мне, и в течение нескольких дней мне не было никаких хлопот с ней, кроме беспокойства вечно охранять свою мастерскую и затруднения приносить туда пищу, для чего требовалась немалая изобретательность с моей стороны.

Но однажды вечером, когда я гулял по террасе с Максом в полной уверенности, что прочно запер свою принцессу в мастерской, я испытал сильное потрясение.

Терраса тянулась вдоль всей южной стороны замка. В середине ее находился фонтан и бассейн, в котором плес-

кались золотые рыбки. Мы шли к концу террасы, повернувшись спиной к фонтану, когда легкий шум заставил меня обернуться. У края фонтана, небрежно склонившись над его каменной балюстрадой, сидела принцесса Сафирия.

Было слишком поздно помешать Максу увидеть ее; он схватил меня за руку и с возбужденным видом указывал на нее.



Я старался выразить на лице спокойствие, которого далеко не ощущал, и приблизился к ней. Она подняла руки с балюстрады и задорно посмотрела мне в лицо.

— Как вы смели прийти сюда? — спросил я очень строго.

Она повесила головку, как ребенок, которого бранят, но я видел, что глаза ее смеются.

— Я не птица, которую можно держать в клетке, — сказала она кротко.

К счастью, она говорила слитком тихо, чтобы Макс мог расслышать ее. Я также понизил голос.

— Идите назад как можно скорее, или я не отвечаю за вашу жизнь, — быстро прошептал я, — и не позволяйте никому вас задерживать. Вы слышите?

— Я когда-то была принцессой, — надулась она, — теперь же вы командуете мной, как какой-нибудь собачонкой.

Я с большим удовольствием проклял бы ее упрямство, но все же постарался сдержаться.

— Умоляю вас уйдите, принцесса!

Она сделала мне насмешливый реверанс.

— А я повелеваю вам оставить меня в покое.

Я бросил быстрый взгляд через плечо и немного успокоился, убедившись, что Макс не сдвинулся с места.

— Повинуйтесь мне сейчас же! — прошептал я.

Ее подбородок сразу приподнялся на воздух.

— Вы только что умоляли меня! Ну вы, по-видимому, сегодня сами не знаете, чего хотите, принц, поэтому мне, действительно, лучше будет уйти. Спокойной ночи! Так вот это тот молодой человек, который так сильно ненавидит меня? Как бы мне хотелось рассмотреть его лицо. Но здесь так темно. Он кажется симпатичным. — Она поцеловала кончики пальцев и послала ими Максу воздушный поцелуй.

— Да уйдете ли вы наконец? — зарычал я.

Направление пальцев изменилось, и на этот раз воздушный поцелуй был послан мне. Она кивнула, улыбнулась, стала удаляться, задорно посматривая на меня, и скрылась в ближайшую дверь. Я вернулся к Макс.

— Она ушла? — спросил он, и в его голосе слышалась нотка сожаления.

— Да. Ты лучше себя чувствуешь?

— Она... она необычайно прекрасна, — ответил он каким-то мечтательным тоном.

Голос его прерывался, и он не смотрел на меня.

— Было слишком темно, чтобы ты мог рассмотреть ее,
— ответил я резко.

— Я отлично рассмотрел ее. На нее падал свет. Ее волосы похожи на солнечные лучи. Эбергарт... — он запнулся.

— Что?

— Я... я не мог ясно различить черт ее лица. Ты ведь стоял ближе к ней...

Я отлично понял, что он хотел заставить меня сказать, и я решил не говорить этого.

— Ну?

— Не была ли она... не смейся... не была ли она похожа на наш набросок, помнишь?

Я задумался. Он поставил вопрос в такой форме, что мне было несколько трудно ответить ему.

— Ты находишь, что она похожа на него? — спросил я осторожно.

— Да, очень. Ты этого не нашел?

— Есть, конечно, известное сходство в цвете волос и в форме головы.

— Но ты не...

Здесь я нашел лучшим сильно раскашляться— это было единственное, что оставалось мне сделать. Внимание Макса, к счастью, было отвлечено этим от разговора о Сафирии, и мы вернулись в дом.

Но я сильнее, чем когда-либо, чувствовал, что им лучше не встречаться.

VI

После своей проделки Сафирия дулась на меня целый день, дулась основательно, по-детски и не желала ни разговаривать со мной, ни смотреть на меня. Я оставил ее в покое и пошел искать Макса. Но и Макс, по-видимому, тоже онемел. Он тревожно ходил взад и вперед по комнате или просиживал целые часы с книгой в руках. Он в течение всего этого времени не перевернул ни одной страницы, из

чего я заключил, что чтение не особенно интересует его. Посидев молча довольно долго, я, наконец, спросил, что с ним случилось. Он коротко ответил — «ничего». Я подождал некоторое время, затем снова повторил мой вопрос. Тот же ответ. Я встал и вынул у него из рук прикрывающий его лицо том.

— Послушай-ка, Макс, должен же ты ответить мне. Что же, наконец, с тобой? — спросил я у него довольно грубо.

Он растерянно посмотрел на меня.

— Не знаю сам.

Я продолжал смотреть на него, и он не мог выдержать моего взгляда. Подскачив с кресла, он начал ходить взад и вперед по комнате. Каждый раз, как он проходил мимо меня, лицо его казалось все более и более расстроенным; наконец я схватил его за руку. Он остановился, как вкопанный.

— Я... люблю ее, — ответил он резко.

— Ты... Что такое?

— Я... люблю ее, — повторил он совершенно тем же тоном. Затем опустился на кресло и закрыл лицо руками. — Да поможет мне Господь, мне кажется, я сошел с ума! — пробормотал он.

— И мне это кажется, — сказал я, когда был в состоянии снова заговорить. Нельзя было ошибиться в том, кого он подразумевает.

— Но ведь это привидение, как ты знаешь, — сказал я или, вернее, попытался сказать; но мой голос замер у меня в горле, и я стоял молча.

Он поднял глаза.

— Какое мне дело, если она даже пятьдесят раз привидение. Где она, Эбергарт?

Я ничего не ответил.

— Она свела меня с ума, — продолжал он. — Я не могу думать ни о чем другом, не могу любить ничего другого, не могу видеть ничего другого. Скажи мне ее имя.

— Сафирия.

— А дальше?

— Фон Таксель... она была похоронена в начале седьмого столетия.

Слезы медленно наполнили его растерянные глаза.

— Я мог бы угадать это, — прошептал он тихо.

На минуту воцарилось молчание; затем он медленно поднялся на ноги.

— Ты славный малый, Эбергарт, — прошептал он. — Не называй меня дураком на этот раз.

Я не назвал его дураком — раньше, чем я успел это сделать, он вышел из комнаты..

Я медленно направился к мастерской и нашел дверь открытой. Это меня весьма мало удивило, но в голове мелькнула догадка, что Сафирия, может быть, на террасе, и Макс в таком случае, наверно, встретится с нею. Эта мысль пробудила во мне странную смесь чувств. Я жалел Макса и в то же время ненавидел его. Ведь Сафирия принадлежала мне; я спас ее от живой смерти и если когда-нибудь одно человеческое существо принадлежало другому, она была моей душой и телом. Пока я стоял у дверей мастерской, странное видение мелькнуло у меня в уме. Я видел Сафирию, воцарившуюся полной хозяйкой Хильтонского замка. Я слышал ее смех, звеневший по большим, темным комнатам, топот ее ножек, бегущих по террасе.

И предо мной восстало ее прекрасное лицо, и я нашел новый смысл в нем, прелесть, которая раньше никогда его не озаряла.

И все это могло так легко осуществиться. Я мог спугнуть Макса с дороги, отвезти Сафирию за границу, тихо перевенчаться с ней где-нибудь и вернуться, чтобы представить свою жену пораженным членам моей семьи. Я мог ознакомить ее с ее собственной странной историей, пока мы будем за границей, и тогда, конечно, она охотно согласится выйти за меня замуж, — какая женщина на ее месте не сделала бы этого? Что касается Макса, он был попросту болваном.

Но пока, благодаря его безумию, могли возникнуть неприятные осложнения; итак, я быстро спустился на террасу. Проходя мимо картинной галереи, я подумал, что мне, может быть, придется пригрозить Максу, и поэтому хорошо

иметь под рукой какое-нибудь оружие. В одном из шкафчиков был незаряженный пистолет. Я положил его в карман и продолжал путь.

Терраса имела тихий и миролюбивый вид при лунном свете — уже было больше одиннадцати часов. Нигде никого не было видно, и я стал тревожно раздумывать, куда могла деваться Сафирия. Затем вдали среди деревьев я увидел белеющее женское платье, и мной сразу овладела тревожная мысль. Я покинул террасу и побежал как мог скорее через сад по направлению к дубу с ястребиным гнездом. В двадцати аршинах от дерева я замедлил свои шаги и стал осторожно красться под тенью деревьев. Звук голосов поразил мой слух; я подвинулся дальше и тихо раздвинул ветви. Как раз впереди меня, опираясь о ствол огромного дуба, стояла Сафирия; перед ней, бледный и молчаливый, виднелся Макс. Она внезапно повернулась, и я увидел ее лицо, — на нем виднелось странное выражение экзальтации, которого я раньше ни разу не замечал. Глаза ее сверкали, и она протянула одну руку вперед драматическим жестом.

— Вы помните, — говорила она, — вы помните турнир в Шенберге и «состязание в пении»? Вы помните, Максимилиан?

Он покачал головой, и его глаза приняли страдальческое недоумевающее выражение.

— Нет.

Она порывисто придвинулась к нему, положила руку на его плечо.

— Ах, но вы ведь должны это помнить! — повторила она.

Он ничего не сказал, но не спускал глаз с ее лица; он также взял ее руки и сжал в своих.

— Вы не привидение! — прошептал от немного спустя. Теперь настала ее очередь прийти в недоумение.

— Не привидение? О чем вы это думаете, Максимилиан? Ведь я Сафирия — Сафирия фон Таксель. — Затем она низко склонила головку и добавила очень тихо: — Ваша Сафирия.

Но Макс, по-видимому, все еще ничего не понимал. Он стоял, смотря на нее с удивлением.

Она продолжала:

— Где вы были, Максимилиан, что могли все забыть до такой степени? Что случилось со мной, что вы не узнали меня? Где мой отец? Что произошло со всем и всеми? Принц говорит...

Макс порывисто перебил ее.

— Принц Эбергарт?

— Да. Эбергарт, принц фон Таксель. Вот и этого также я не могу понять — ведь это имя моего отца. Кто этот Эбергарт фон Таксель?

Макс призадумался, прежде чем ответить ей.

— Он принц фон Таксель.

— Но разве нет другого принца фон Таксель ?

— Другого нет. Дядя его, принц Альмериус, умер.

— Но мой отец, — что же с ним?

— Я не знаю,—ответил Макс медленно.

Она нетерпеливо топнула ножкой.

— Но должен же он быть где-нибудь, не исчез же он, наконец. Ведь только на днях еще он изгнал вас, а теперь...

Макс внезапно вздрогнул, затем снова заговорил :

— Вы ошибаетесь. Я никогда не знал вашего отца.

— Но ведь он изгнал вас, — повторила она, — он изгнал вас отсюда, потому что я... Ох, Максимилиан, неужели вы не помните? Я... я... — она запнулась.

— Почему вы не продолжаете? — спросил он.

— Как могу я продолжать, когда вы на меня смотрите так странно? Я сказала, что непременно выйду за вас замуж... но я не выйду теперь... нет, ни за что не выйду... — воскликнула она страстно, — если вы могли так позабыть обо мне!

Она вырвала у него свои руки и отступила на несколько шагов. С секунду она простояла, бросая на него яростные взгляды, затем закрыла лицо руками и разразилась целым потоком слез. Ее горе произвело странное впечатление на Макса. Он весь дрожал, и лицо его было лицом человека, который прилагает все усилия, чтобы вспомнить о чем-то давно позабытом. Он подошел ближе к ней и посмотрел на нее растерянным, жалобным взглядом.

— Скажите мне, — сказал он дрожащим голосом, — ска-

жите мне, вы, называющая себя Сафирией фон Таксель, кто я?

Она сердито посмотрела на него.

— Вы со мной шутите ?

— Нет, не шучу, — ответил он серьезно. — Сафирия, ради всего святого, скажите мне, кто я?

Она посмотрела на него с минуту, словно желая убедиться, что он говорит серьезно. Затем проговорила медленно, точно повторяя затверженный урок.

— Вы — Максимилиан, граф Леухтенбергский, паж моего отца и наследник земель Эльзенпла... — она не успела договорить слова, так как Макс воскликнул странным, незнакомым мне голосом:

— Эльзенплаца в долине Вервеля?

— Да.

Тогда какой-то свет озарил его лицо, — свет, подобного которому я никогда не видел ни на одном человеческом лице. Казалось, он только что пробудился от длинного, тяжелого сна и увидел, как мрак ночи исчез навсегда.

В течение нескольких секунд он простоял таким образом, и я почти боялся красоты его лица. Сафирия наблюдала за ним странными глазами, но в первые секунды он не смотрел на нее.

— Я теперь все припомнил, — сказал он тем же измененным голосом. — Я помню Эльзенплац и Шенберг, и кто вы, и кем я был более тысячи лет назад.

Сафирия отшатнулась от него и воскликнула с неопи-
санным ужасом:

— Что вы хотите сказать?

Он посмотрел на нее с минуту, прежде чем ответить, и улыбка мелькнула на его лице.

— В конце концов, — ответил он, — какое значение имеет то, что я хочу сказать? Какое значение имеет что бы то ни было, когда вы — Сафирия фон Таксель, а я Максимилиан фон Леухтенберг?

Он придвинулся к ней, а я быстро выскочил из своей засады и стал перед ними.

Набрасывая эти строки, я вспоминаю, как падал лунный

свет сквозь трепещущие листья, я вижу бледное лицо Макса и слышу тревожный крик Сафирии.

— Она моя!

Он не отступил.

— Она моя, Эбергарт фон Таксель!

— Нет, — ответил я сурово, — теперь моя очередь, твоя очередь была тысячу лет назад. Она принадлежит мне. Откажись от нее!

— Я не откажусь от нее, — ответил он твердо.

Я вытащил пистолет из кармана и прицелился в него. Лунные лучи обдавали ствол каким-то белым светом.

— Откажись от нее или я выстрелю!

Лицо его побледнело еще больше, но глаза смотрели в мои неморгающим взглядом. Он не сразу ответил, и я сдерживал дыхание до его ответа. Наконец ответ раздался; мне казалось, что голос его был какой-то слабый и отдаленный.

— Я... не... откажусь от нее.

Я дотронулся до курка — раздался внезапный громкий выстрел. Как оказалось, пистолет был заряжен!

Затем в эту секунду отчаяния я вспомнил, что Макс сам зарядил его несколько дней назад.

Он упал, как подкошенный, и неподвижно растянулся на блестящей траве. Я же отбросил пистолет и стал на колени возле него, тщетно стараясь вернуть его к жизни. Пуля не миновала цели; он был мертв. Когда я вполне понял это, я поднялся на ноги, смотря на росу, покрывавшую траву, на лунный свет, сверкавший на росе, и не видел ни того, ни другого.

Немного спустя Сафирия подошла совсем тихо, стала на колени возле своего возлюбленного, взяла его за руку и принялась звать жалобно, как обиженный ребенок. Она разгладила белокурые волосы, блестящие в тех местах, где на них падал лунный свет, и трясла руку, тяжело лежавшую на ее коленях.

Я стоял, словно приросший к земле, и бессмысленно наблюдал за ней со странным ощущением пустоты в голове. Внезапно она подскочила с громким криком и протянула мне одну из своих маленьких белых ручек. Она была вся

перепачкана ужасными красными пятнами, и я невольно отступил назад.

— Он умер, — рыдала она. — Вы убили его, он умер!

Мне казалось, что из каждого куста в лесу насмешливые голоса отвечали ей и что мириады бесов смеялись и ликовали и повторяли все снова и снова: «Он умер, умер, умер!»

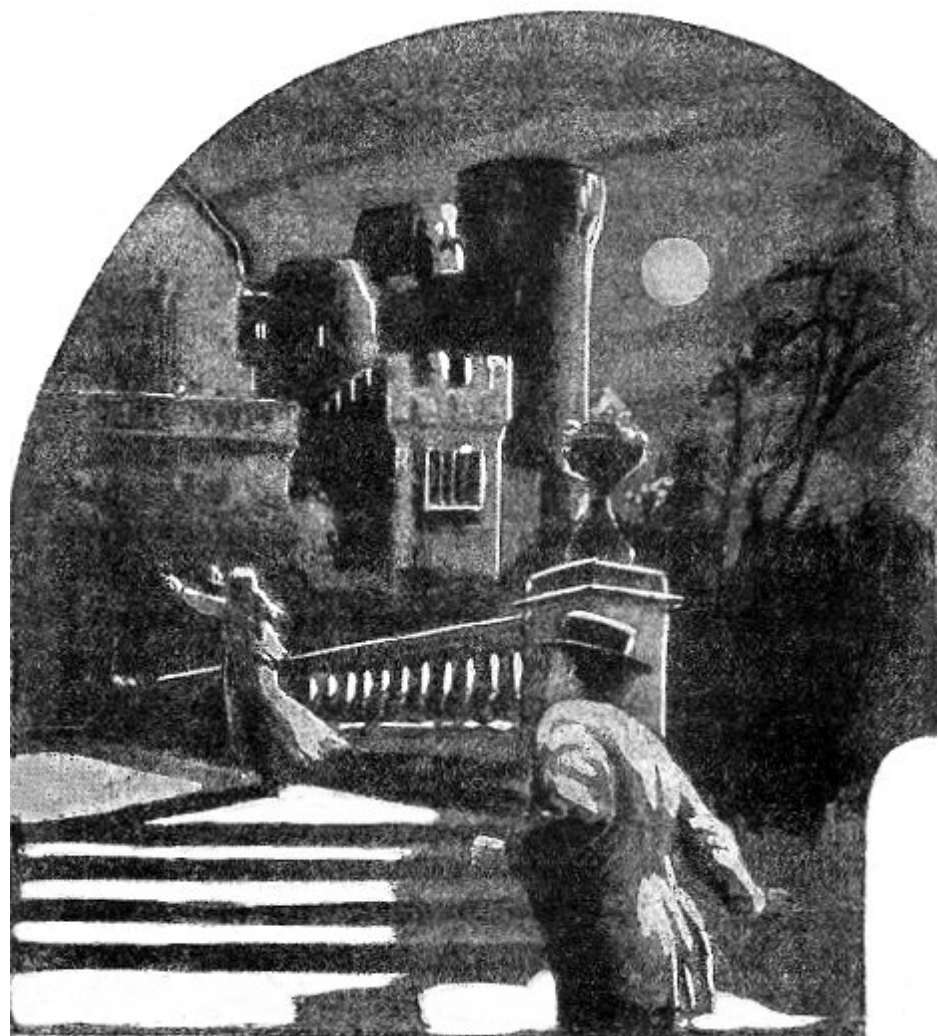
Я заговорил бы, но этот дьявольский голос остановил меня. Я приблизился к ней, и с быстротой мысли она отвернулась от меня и бросилась бежать. Не знаю, какое чувство подтолкнуло меня, быть может, страх остаться одному с этой ужасной фигурой, лежавшей под лунным светом, но я последовал за ней.

Она взлетела вверх по террасе и достигла дома, преследуемая мной, и исчезла сквозь маленькую дверь террасы.

Я сломал ее и последовал за ней. Мы бежали по коридорам в большую кирпичную галерею. Ноги ее не производили ни малейшего шума — я словно гнался за призраком. Но я нагнал ее, когда мы влетели в галерею, и, протянув руку, схватил ее за развевающиеся одежды.

Серебряная парча вместе со своей нежной вышивкой из жемчуга разорвалась, как паутина; но я крепко держал ее. Я так сильно давил ее руки, что думал, что она закричит. Но она не закричала. С секунду держал я ее, задыхающуюся от быстрого бега, словно в железных тисках.

Затем то, что я держал, начало рассыпаться. Атлас съезжился над рассыпающимся телом, вся, только что живая, фигура растворилась под моими руками. В страшном ужасе я отнял руки, и все оставшееся упало к моим ногам — несколько аршин смятой парчи, кусок золотистых волос. Лунный свет, вливавшийся в галерею, показал мне все это с безжалостной ясностью. Он сверкал на платье странного фасона, на жемчуге, на блестящих волосах и на горсточке пыли внутри, которая когда-то была принцессой Сафирией.



Мне осталось написать лишь немного. Бледный рассвет прокрадывается сквозь занавески и скоро настанет день. В лесу птички начинают двигаться, зеленые ветви дрожат новой жизнью. А под дубом с ястребиным гнездом лежит молчаливая фигура, которая когда-то была Максом Рейссигером, моим другом, или этим другим Максимилианом, графом Леухтенбергским, моим врагом. Как я могу сказать, кто это из двух, когда все так странно? Я знаю только, что убил одного из них и что недолго переживу его. В галерее также лежит все, что осталось от работы итальянских балъзамировщиков.

Где теперь она, та, которая жила в ней, я не знаю, я не могу оказать. Это также было делом моих рук; прикосновение крови, пролитой мною, было колдовством, обратившим в прах то, что пережило целые столетия.

И это награда мне. Я могу только сказать, как уже сказал один раньше меня: «Да вступятся все добрые христиане за душу мою, Эбергарта Альмериуса фон Такселя».

ЗАМЕТКА

Эти бумаги были найдены на трупе несчастного принца фон Такселя в библиотеке замка. Его нашли с простреленным черепом при таких обстоятельствах, которые ясно указывали на самоубийство и к тому же самого решительного вида. Останки его друга, господина Рейссигера, были найдены под ястребиным гнездом несколько часов спустя. В галерее, однако, не было ни малейших следов какого-либо платья или чего-либо иного, что могло бы подтвердить письменное сообщение покойного принца относительно Сафирии фон Таксель. Это обстоятельство указывает на печальный факт, что дом Такселей страдает предрасположением к наследственному умопомешательству. В этом несчастном предрасположении, несомненно, надо искать причину как этого необычайного преступления, так и еще более странного вымысла о мраморном сердце.

Анри Фальк

СВИДАНИЕ ЗА ГРОБОМ

3-го апреля 1910 г.

Уснула, наконец!.. Спи спокойно, дорогая, любимая! Я буду хранить твой покой. Только, чтобы прогнать тоску, я буду вести этот дневник. Когда ты выздоровеешь, мы вместе прочтем его, и ты увидишь, как я люблю тебя.

Я боялся, что разбужу ее, но не мог не поправить ее руку, свисавшую с постели. Теперь обе лежат ровно, симметрично <...>

Моя Люсиль, дорогая, единственная!..

Помощника найти! Кто же мне может помочь ходить за ней? Не родители же ее, грубые и алчные звери, живущие на ее счет и осмеливающиеся негодовать на ее поведение! А у меня самого — кто же? Единственный брат — в Африке — и мама, доживающая, после смерти отца, свои дни в родном Манте. Тревожить ее, старушку, я не считаю себя вправе, — довольно забот и тревог я причинил ей в жизни.

А друзья и приятельницы? Ну, эти, как известно, познаются в несчастье... Невесело у нас стало, — и они почти перестали заглядывать. Может быть, я и сам их разогнал своей угрюмостью и раздражительностью от горя. Да мне и не нужно никого. Я рад быть один с моей Люсиль...

Я хорошо ее вижу при этом слабом свете ночника... Розовая... слишком розовая... Рот полуоткрыт... Дыхание хриплое, быстрое, короткое... Мне кажется, я слышу скрип сдавленных легких...

Вероятно, у меня вырвались нечаянно два-три слова вслух. Она проснулась, узнала меня, попыталась улыбнуться... Я тихо сжал ее горячие ручки, дал ей выпить ложку воды, поддерживая голову... волосы разметались... Тихонько поцеловал ее... не в губы! Она снова уснула — слабенькая, кроткая, прекрасная...

Три года уже мы любим друг друга. Мы были так счастливы! Я работал, полный радостных надежд, а несчастье неожиданно подкралось!

Она дышит спокойнее. Я, действительно, устал; даже сидя, шатаюсь от усталости. Подвину качалку к ее постели, —

малейшее движение ее я почувствую и услышу.

4-го апреля

Ей хуже... Моментами она бредит... Только впрыскивания облегчают ее страдания. По мне пробегает холодная дрожь, когда я вижу, как игла шприца вонзается в ее тело. А она смотрит на меня успокоенными глазами. Они уверяют, что ей не больно. Теперь они совещаются у меня в кабинете... Я припадаю ухом к двери, — ничего не слышно... Тихие, невнятные голоса...

Консилиум заявил, что надо известить родных.

5-го апреля

Какая возмутительная сцена! Но я поступил энергично. Мать Люсиль здесь. Отец предпочел не нарушать своего покоя. Я вышел было погулять, в первый раз за всю неделю: врачи отправили меня. Хотел пройти в Люксембургский сад, но, повернув за угол, вспомнил, что не оправил постели Люсиль, и вернулся... к счастью.

Я вошел неожиданно — и застал Люсиль... в слезах! И теперь еще не могу без дрожи вспомнить. Тяжелобольную довести до слез! Это наглое, алчное животное — мать — воспользовалась моим отсутствием, потребовала у нее ключи от шкафа, позволила ей говорить, волноваться, плакать!...

Ведь с каждым словом, не только с каждой слезой, у нее вырывается частичка жизни! Я выпнал это животное из комнаты и пошел было за ней. Я задушил бы ее, но Люсиль умоляюще сложила руки... Я остался на пороге. Она что-то начала о том, что Люсиль — ее дочь, что у нее должны быть и собственные деньги и вещи... Но я выразительно сказал ей, что она у меня в доме и при малейшей новой выходке я ее вышвырну вон. Когда я подошел к Люсиль, она взяла и

поцеловала мою руку.

7 часов вечера

Температура поднялась до 41 гр. Впрыскивания не помогают. Врач сердится, что я только утомляю ее своими заботами и сам сбиваюсь с ног. Уверяет, что у меня самого жар, и требует, чтобы я прошелся на воздух, пока солнце не зашло, и тепло.. Обещает, что посидят при Люсиль, пока я вернусь. Пойду, пройдусь...

На воздухе я, действительно, немножко собрался с силами. Врач уехал, я опять один с моей Люсиль. Мать роется в шкафу в соседней комнате. Пусть ее! Моя бедная Люсиль спит так тихо и крепко... Я счастлив. Ночь будет долгая. Возьмусь за портрет Люсиль.

6-го апреля

В Люксембургском саду на скамье. Доктор остался при Люсиль. Он говорит, что если я не буду спать и гулять хоть по часу в день, я слягу. Завтра он пришлет сиделку. Я покорился — и вот силу, продолжаю дневник, чтобы обмануть тоску. Какое утро дивное — тихое, нежное... Старик в кресле греется на солнышке... Хочет жить, любит жизнь! Детские голоса, щебетание птиц, светлые, клейкие молоденькие весенние листочки... В прошлом апреле мы с ней в такой день бегали, как дети, по лесу, пели... А теперь она, быть может... Нет! О, нет!

Боже! Я часто сомневаюсь с Тебе... Но ты можешь просветить и вразумить заблудшего! Я — прах, тень, тень от тени перед величием Твоим... Но если Ты существуешь, — яви себя. Боже! Даруй мне милосердие Свое, если... *так как Ты существуешь!* Будь весь милосердие, — и я стану весь святая вера! Я жажду молиться, Боже; я жажду верить! Яви милосердие... Боже!..

5 часов вечера

Письмо от мамы. Беспокоится, не получая от меня давно писем. Напишу ей сейчас же. Отчего это у меня голова как будто сдавлена огненным кольцом?

9 часов вечера

Что за вздор! Болен? И я болен? Невозможно! Просто — усталость. И эти боли в голове пройдут, — у меня организм крепкий. Но доктор не принимает моих возражений и настойчиво требует, чтобы я лог спать, едва придет сиделка, и непременно проспал всю ночь.

7-го апреля, 5 ч. утра

Ну да, я так и знал! Сиделка слилась вчера в 10 ч. вечера; седая, важная, угрюмая. Я улегся в кабинете, но часа в 3 ночи отчетливо *почувствовал*, что Люсиль зовет меня. Я вскочил, бесшумно пробрался к ней... конечно, спала не она, а сиделка! Безмятежным сном в кресле, сложив руки на животе... А моя бедная голубка тщетно шептала: «пить», повернув голову к ней!

Я сгоряча набросился было на сиделку, но заставил себя сдержаться: нельзя же возбуждать ее против себя, раз я нуждаюсь в ней. Но уйти я не мог — я дежурю вместе с ней. Все время я не чувствовал усталости. Люсиль тихо спит, уснув с улыбкой, когда я напоил и поцеловал ее — в губы! Надо было видеть, как вышла из себя сиделка! Но теперь, с рассветом, голову опять стало жечь огнем, — перед глазами поплыли цветные круги... Сиделка увела и насильно уложила меня. Теперь половина 7-го... Я лежу и пишу... уснуть все равно не могу. Сиделка каждые полчаса приносит мне ве-

сти о Люсиль, говорит со мной мягко, бережно. Не могу больше писать... Голова разорваться готова при малейшем движении... Если бы уснуть!..

8 ½ час. утра

Они не знают, что я пишу... Меня заставляют лежать неподвижно с компрессами на голове... Люсиль лучше. Как я полюбил мой дневник!

Они теперь совещаются... Очевидно, не о Люсиль, а обо мне: спрашивали меня об адресе моей матери. Голова сильно болит...

9 часов утра

Если бы они знали, что я сижу на постели! Едва написал фразу, как услышал голоса в коридоре. Пришлось сунуть дневник и карандаш под подушку. Вошли и дали мне чего-то выпить. Усыпительного? Ну что ж, — я рад поспать.

Только прежде, чем усну, запишу свою волю: *чтобы дневник оставили у меня под рукой*. Не уносите его! Люсиль зовет меня... Моя Люсиль!.. За дверью голоса... Что там такое? Не могу больше писать... руки слабеют... Что мне дали выпить?

15-е мая, 5 час. утра

Я провел всю ночь рядом с Люсиль. Она опять моя, со мной... О, какого труда это мне стоило! На она позвала меня — как тогда.... в апреле... И я пошел за ней. И вот она у меня, на моей постели... Моя навеки, неотъемлемо?

Как это было? Это я хочу записать, — пока *они* — там, на улице... притихли. Что они замышляют — не знаю, но мне все равно. Я совершенно спокоен: мою Люсиль у меня им не отнять. Неужели они думали, что я не пойду, когда она меня позвала? Но мне все равно, что они думают. Буду записывать для тебя, дорогая мама, тут же, в двух шагах от Люсиль.

Благодарю тебя, моя добрая, любимая, за все заботы, которыми ты меня окружила; ты своей любовью сумела вырвать меня из когтей болезни, охватившей мой мозг! Благодарю и за то, что ты с уважением отнеслась к моей просьбе и оставила дневник мой у меня под рукой.

Хорошо там у тебя в Манте, матушка! Я это почувствовал еще в ту минуту, когда в первый раз пришел в себя... через месяц после того, как я услышал голоса за дверью своего кабинета. Благодарю тебя за все!

Я не сержусь на тебя за то, что ты не сразу мне сказала: тогда мне, может быть, и трудно было бы вынести правду. Но я и тогда ни одной минуты не верил тому, что ее увезли в деревню. Смешная ты, мама: разве я мог поверить, что Люсиль могла бы быть жива и не написала бы мне? И ты видела — я мужественно выслушал, что Люсиль умерла, умерла тогда же, когда я услышал голоса дверью. С полным самообладанием я выслушал и то, как ее мать украла ее скромные драгоценности в самый день ее смерти. Конечно, я немножко нервен, у меня всегда были некоторые странности. Но какой же я маньяк? Я просто себя хорошо знаю. Я знаю, что не вынес бы смерти единственного в целом мире, кроме тебя, беспрельдно дорогого мне существа, если бы не увидел ее еще один хоть раз.

Ты ведь понимаешь, мама, что мне *необходимо* было увидеть Люсиль? Я бы хотел, чтобы ты хорошо меня поняла. Послушай. Она умерла? Конечно, умерла... то есть ушла из жизни людей... Но ведь это еще не значит — ушла совсем из жизни! Бедный ум человеческий не всегда способен представить себе другой вид существования. Но Люсиль меня *позвала*, — значит, продолжала же она жить! Мне *необходимо* было соединиться с ней! Я хотел бы, чтобы хоть

ты одна поняла это.

И я этого добился. Вот она здесь, у меня. *Они* кричат: «Помешанный!..» Но разве сумасшедшие могут так зрело обдумать и спокойно осуществить смелый план? Ведь даже тебе я ни словом не проговорился, и ты так и поверила, что я поехал просто подышать морским воздухом. Ты бы поняла меня — я знал — но, быть может, все же стала бы удерживать. А мне надо же было сделать это! И я спокойно и обдуманно провел все: нашел ее бедную, почти заброшенную могилку, вырыл дорогое тело и унес его, как перышко, в ближайшую деревню, к себе.

Я хотел побыть с ней один часок всего, но *они* скоро бросились по следу, как собаки за зверем, окружили домишко и держат меня в осаде; я не могу унести ее обратно при них и, быть может, под их безумной погоней, может быть — даже под выстрелами. И я сижу, забаррикадированный, и пишу — для тебя.

О, какое это глубокое счастье — проникнуть в жизнь за гробом, в жизнь, переставшую быть жизнью! Это невозможно тебе объяснить. Она мертва для всех, но я чувствую в ней жизнь — *другую*, чем та, которой я еще живу, но такую понятную мне и полную высокого мистического смысла. И кто сказал, что всякий труп холоден? Тело моей Люсиль теплое. Она не может говорить, не может двигаться, глаза ее не смотрят, как глаза живых; но нам все это и не нужно. Мы не переставали жить одной жизнью и, чтобы эта связь уцелела навеки, нам нужно было еще один раз свидеться. Ведь я ее не видел, когда она умерла и ее похоронили: я не мог, больной, прийти на ее зов.

Нам необходимо было свидеться — и мы свиделись.

Когда рассвело, *они* стали ломиться в дверь, кричали, требовали, чтобы я впустил их — «именем закона». Я предложил им своим именем выломать дверь. Прежде они через дверь допрашивали меня, я ли разрыл могилу Люсиль Лакур и похитил тело. Я сказал им, что я, и хладнокровно обещал, что убью всякого, кто вздумает ворваться к нам. Они еще пытались требовать, чтобы я выбросил оружие через окно. Каким наивным они меня считают! Я забаррикадиро-

вался в этой комнатке, выходящей окнами во двор; тут мне спокойно, и я пишу без помехи. Только, к сожалению, мне не видно, что они делают на улице с тех пор, как притихли...

Я подходил к угловому окну. Офицер какой-то меня заметил и крикнул что-то... Ага, ломятся в двери! Ну что ж, пусть их... Я выстрелил в толпу. Бедный солдатик, — наповал!.. Мне жаль его... но зачем же он слушался чужих приказаний? Я ведь не слушаюсь же!

Опять все затихло!.. Я оглянулся на Люсиль... У нее шевельнулась нога... Как это странно... и страшно! О, как страшно! Все тихо... Где они?.. Что делают?.. Мне страшно!

Опять удары... в двери... в стену... Какой-то огонек блеснул... Понимаю... они хотят взорвать дом, — дают мне время выбежать... Но я не сдамся им!

Поцеловал Люсиль... Холодные губы... Страшная улыбка... Боюсь еще раз взглянуть на нее... Огонек все ближе...

Прощай, мама. Сохрани дневник.

Холодок револьвера приятно ласкает висок. Прощай...

Р. д'Аст

КАК УМЕР ЖАК КОДЕЛЛЬ

Это было 14 января 19... В этот ужасный день Жак Коделль — студент-юрист и спирит — познакомился с бароном Максом де Пуэрперо. Это происшествие — несомненно, очень важно, хотя и прошло почти незамеченным для огромного большинства людей. В этот день среди ясного неба не грянул гром и ничем не была нарушена уравновешенная устойчивость земного шара, часы не остановились и ученые астрономы на вышках своих обсерваторий не зарегистрировали чего-нибудь необыкновенного на горизонте.

Да, это было 14 января. В этот день Жак Коделль познакомился с бароном Максом де Пуэрперо, человеком, пользовавшимся большой известностью далеко за пределами своей родины. Его называли героем самых невероятных событий — и среди людей, склонных к таинственному, имя его было окружено ореолом. Это был странный, для всех загадочный человек с блестящими серыми глазами, стальным взглядом — и замечательный спирит. В его присутствии спиритические сеансы всегда бывали особенно поразительными.

14 января 19... в шесть часов вечера Жак Коделль решил заняться спиритизмом. Вынес и поставил круглый столик посреди комнаты, положил на него руки — и сосредоточил всю свою волю. Стол был недвижим: ни малейшего колебания. Коделль уже начал терять терпение, как послышался стук в дверь и в комнату вошел лакей: он протянул Жаку карточку из бристольской бумаги, на которой Жак прочел:

Барон Макс де Пуэрперо

Председатель О. У. С. И. У. А. К.

Коделль был поражен... барон Макс у него! Человек, знакомый с загробными тайнами, умеющий материализовать невидимое и входящий в непосредственные сношения с духами, пришел к нему, хотя они не были до сих пор даже знакомы!

Жак вспыхнул от радости, бросил быстрый взгляд на себя в зеркало, тщательно расчесал волосы, поправил галстук и приказал просить своего благородного посетителя.

И барон Макс вошел! Вошел, как всякий другой человек: ничего особенного не было в его походке. Он был одет с большим вкусом и элегантностью; в глазу монокль.

Увидев Жака, он поклонился ему, подал сухую, длинную руку, крепко пожал руку хозяина, затем молча опустился в кресло, указанное ему последним.

— Сударь, — начал гость, — вы видите перед собой барона Макса де Пуэрперо, председателя известного Общества Убежденных Спиритов и Учеников Аллана Кардека. Вас, конечно, удивляет неожиданное мое появление в вашей квартире. Однако, не вздумайте объяснять это какими-нибудь сверхъестественными причинами. Я позволю себе без промедления поставит вас в известность относительно мотива, побудившего меня нанести вам визит.

Вы знаете, милостивый государь, что я занимаюсь спиритизмом: я — страстный приверженец круглого стола. Судя по тому столику, что я вижу около вас, я с некоторой уверенностью могу высказать предположение, что вопросы оккультизма и вас интересуют, с чем вас и поздравляю... Но я возвращаюсь к сути дела.

В течение последнего месяца мои опыты не отличались тем поразительным успехом, которым духи баловали меня раньше. Было ли это следствием каких-нибудь космических причин, или, может быть, духи просто отдыхали, не знаю...

И вдруг вчера вечером стол мой из сандалового дерева ожил... Я сделался свидетелем необыкновенного события...

— Но, милостивый государь, — робко прервал барона Жак, — я не понимаю почему...

— Бога ради, позвольте мне рассказать все, что произошло в этот навсегда памятный для меня вечер. Мой рассказ вас заинтересует больше, чем вы думаете... Вы понимаете: в истории спиритизма таких прецедентов еще не бывало. Итак, мой стол ожил. Но вместе того, чтобы, как всегда, спокойно выстукивать ответы, он начал так бурно прыгать,

что я испугался. Через несколько минут сильнеешего страха — я спросил неизвестного духа о причине такой злобы. Я засыпал его вопросами. Воля моя была так напряжена, что я чувствовал себя совершенно разбитым. Наконец, я добился ответа. Вот он: *«Я — дух Жака Кодделя, студента-юриста, ныне живущего. Я пришел к тебе во время его сна...»*

Жак вздрогнул.

— Мой дух?.. Во время моего сна?.. Вы, конечно, смее-тесь надо мной... Я верю в оккультизм, но до известной степени. Я знаю, каким огромным авторитетом пользуетесь вы в кружках спиритов, но убедить меня в правдивости ваших слов — вам не удастся. Я еще не умер — и дух мой не мог оставить своей оболочки.

Лицо барона сделалось строгим. Странный огонь вспыхнул в его глазах.

— Молодой человек, — заговорил он медленно и отчетливо, — я далек от мысли мистифицировать вас. Повторяю вам слова духа:

«Я — дух Жака Кодделя, студента-юриста, ныне живущего; но я нахожусь уже на грани освобождения своего из его тела, так как он должен скоро умереть. Я пришел сюда во время его сна, так как нахожусь в особом состоянии духов, которые должны оставить свою оболочку...»

На другой же день, то есть сегодня утром, я отправился в университет и узнал, что студент по имени Жак Коддель действительно существует. Я не преминул разузнать ваш адрес — и вот я здесь. Моя цель — вас предупредить, так как ваш дух предрек вашу близкую смерть...

Он умолк. В комнате стало темнее. Церковные часы медленно пробили семь часов. Барон с тем же странным огоньком в глазах улыбался, пристально смотря куда-то вдаль. Жак не шелохнулся. Лицо его сильно побледнело. На лбу показались крупные капли пота. Такая мучительная тоска вдруг охватила его душу, что ему показалось, будто все это — страшный сон.

— Это безумие, сударь, — с трудом произнес он наконец. — Дух мой не покидал моего тела и у вас не был. Вы

ошиблись... Это невозможно. Боже мой, есть от чего с ума сойти, когда слышишь такие ужасы...

Признайтесь, что вы хотели лишь подшутить надо мной и заронить в мой мозг зерно мучительного сомнения. Если это была, действительно, шутка, то вы можете поздравить себя с успехом, потому что с минуту я готов был поверить вам.

— Молодой человек, с духами не шутят, — ответил барон. — Я посвятил спиритизму всю свою жизнь. Ему я верю так же, как матери... Как бы я поверил в Бога, если бы Он был, как в ад, потому что ад — есть? Дух сказал, что вы умрете, тем более, что этот дух — был ваш собственный. Вы осуждены...

— Вы с ума сошли!.. — не выдержал Жак. — Вы — шарлатан, лжец...

— Я сделал свое дело. Помните, что бы ни произошло — я вас вовремя предупредил. Вы можете умереть завтра, этой ночью, сегодня вечером... Но смерть наша близка. Духи никогда не лгут.

Жак сорвался со своего места.

— Убирайтесь вон... — заревел он. — Довольно... Вы — пришедший сюда с предсказанием моей смерти — вы лжете! Я не верю вам. Убирайтесь вон, я прогоняю вас!.. Мне всего только двадцать лет... В такие ранние годы не умирают...

— Смерти все возрасты покорны...

— Вон, или я вас убью...

В комнате стало совсем темно. Глава барона сверкали в темноте, как раскаленные угольки. Наступило мертвое молчание, и только прерывистое дыхание Жака нарушало его. Он схватил тяжелое пресс-папье и угрожающе замахнулся, указывая свободной рукой посетителю на дверь.

— Пусть, — вздохнув, ответил барон. — Я ухожу. Вы упрямы. Я вас, вероятно, никогда больше не увижу. Прощайте!..

Он ушел. Жак остался в полном одиночестве. Он до крови кусал губы, чтобы уверить себя в том, что он не спит. Он боялся двинуться с места, объятый каким-то безумным, сле-



пым страхом, навеянным тем, кого Жак раньше мечтал увидеть. Но темноты он больше выдержать не мог. Зажег спичку, затем лампу. Освещенная комната показалась ему странно-чуждой, незнакомой. В зеркале он увидел свое отражение, которое его самого испугало. Блуждающие, воспаленные глаза, в которых, казалось, потухал разум, — были страшны. Вдруг мелькнула мысль: он опустился на стул, стоявший возле столика. Он решил произвести опыт. О, ужас... столик слегка вздрогнул, затем ножки начали медленно приподниматься...

— Дух, ты здесь? — спросил он.

В ответ послышался сухой стук. Прежнее чувство ледящего страха обуяло его. Он верил в призраков. Тут же мелькнула мысль, что барон сейчас снова войдет. На всякий случай он достал револьвер, решив без милосердия убить его.

Затем он продолжал опыт. Ответы следовали ясные и определенные. Ножка столика отбивала вполне правильно и безошибочно. Каждая буква соединялась с другой и составляла слово, а слова — фразу, пока перед темнеющим разумом Жака не встало следующее: *Ты скоро умрешь. Сейчас же. Скоро... Скоро...*

Он замер. Кровь стыла в жилах. Кровавые огоньки начали плясать в глазах. Машинальным жестом он начал вертеть револьвер, приготовленный для барона...

Вдруг он почувствовал глубочайшее спокойствие. Смерть? Что, в сущности, ужасного в ней? Тело — только тленная оболочка... Он должен умереть? Хорошо — он умрет... После такого вечера — жизнь немыслима...

И к горящему виску он приставил холодное дуло револьвера, чтобы освежить его, а... указательный палец нажал курок.

14 января 19.. Жак Коделль — студент-юрист — покончил свою молодую жизнь самоубийством.

Газеты известили общество об этом трагическом случае, однако причин самоубийства никому узнать не удалось.

[Без подписи]

ВЫХОДЕЦ ИЗ МОГИЛЫ

Мистер Август Шилль из Кливленда, в штате Огайо, сидел в гостиной и читал газету, как он это всегда делал в воскресные вечера, в то время как его жена мыла посуду после ужина и приготавливала детям постели. Взглянув на карикатуру в красках, приложенную к газете, он рассмеялся, но смех мгновенно замер на его устах, и газета выскользнула из его рук на пол. Шилль почувствовал на своей щеке холодную липкую руку. Он быстро обернулся, но позади его не было никого. Он попробовал вновь приняться за чтение, но его мысли упорно возвращались к клейкому прикосновению к его щеке. В конце концов, он успокоил себя предположением, что вздремнул и это все ему приснилось.

Жене своей он ничего не сказал об этом, и все семейство обычным порядком отправилось спать.

В два часа ночи все члены семьи были внезапно разбужены и подняты на ноги шумом тяжелых шагов по лестнице, как будто по ней подымался огромной величины человек в тяжелых сапогах. Шилль, вооружившись револьвером, побежал на площадку лестницы и взглянул вниз, но не увидел ничего. Полный изумления, он вернулся назад с целью рассеять испуг своей семьи и в эту минуту до него донесся звук захлопнутой входной двери. Схватив зажженную лампу в одну руку и револьвер в другую, Шилль двинулся в нижний этаж и попытался открыть входную дверь. Она была крепко-накрепко заперта и заперта именно таким образом, как он это сделал, уходя на покой. Другая дверь также оказалась запертой на замок и засовы. Все окна были также плотно закрыты и не было никакого другого выхода, через который кто бы то ни было мог войти или выйти.

Совершенно сбитые с толку и наполовину готовые думать, что все это им привиделось в сонной грезе, члены семьи вернулись в свои комнаты, но заснуть им не удалось, потому что в продолжение всей ночи по всему дому раздавались звуки каких-то тяжелых шагов. Дети, спрятав свои головы под одеяла, дрожали от страха и Шиллю пришлось, для их успокоения, простоять всю ночь с револьвером в руке на пороге двери.

Снизу лестницы доносились звуки передвигающегося тела и через весь дом проносилась холодная волна воздуха, заставлявшая пламя газовых рожков колебаться так сильно, что вот-вот, казалось, они потухнут. Наконец, как будто для того, чтобы достойным образом закончить эту ночь ужаса, таинственный посетитель издал страшный крик, за которым последовал пронзительный крик женщины, находящейся как бы в смертельной агонии. Этот крик продолжался несколько мгновений и, наконец, перейдя в ужасный стон, замер в отдалении.

Когда рассвело — Шилль и все остальные члены семейства обошли весь дом, но не нашли ничего такого, что могло бы объяснить им странные шумы, слышавшиеся ночью.

Несколько дней спустя после этого ужаса Виола Ловинская, жилица Шиллей, сидела в гостиной и читала книжку. Ее чтение было прервано стуком в входные двери; встав, она пошла отворять их. Каково же было ее изумление, когда, открыв двери, она не нашла никого. Услышав тяжелые шаги на крыльце, она высунула голову из окна, но также не увидела ничего на крыльце, а на белом снежном ковре, покрывавшем землю, не было никаких следов.

Так как она была одна в доме, молодая женщина страшно перепугалась и, быстро отпрянув от окна, заперла дверь на двойные засовы и спешно обошла все окна, чтобы убедиться, что и они все плотно заперты. Затем она зажгла все газовые рожки, какие только были в доме, и вернулась в гостиную, рассчитывая там выждать возвращения хозяев.

Не будучи уже в состоянии читать, она безмолвно сидела, прислушиваясь к тишине и боясь пошевелиться. Вскоре до ее слуха донесся звук глухого стоны, который, казалось, шел из чердачного помещения над ее головой. Затем ей показалось, что она слышит женский шепот и вслед за тем послышался страшный крик, сопровождаемый тяжелым стуком упавшего на пол тела, заставившим задрожать весь дом. Быстро вскочив на ноги, Ловинская подошла к двери, ведущей из гостиной в столовую, и заперла ее. Она даже прислонилась, тяжело дыша, своим телом к этой двери, как бы боясь, что кто-либо сделает попытку взломать ее.

Тем временем, крики и стоны замерли в отдалении и слышался лишь тяжелый топот шагов кого-то, бродившего в верхних комнатах.

Когда и эти звуки замерли в отдалении, Виола решилась, несмотря на страх, отворить двери в столовую и заглянуть.

К ее несказанному ужасу, двери, которые она сама заперла, оказались отпертыми, а газ в соседней комнате потушен. Когда она, полная панического страха, возвращалась на свое место, она явственно услышала звук насмешливого хохота, шедший из помещения над ее толовой.

Вскоре после этого вернулись члены семейства Шиллей и застали свою жилищу в полуобморочном состоянии. Новые поиски, предпринятые в доме, опять не привели ни к чему. После этого случая посещения таинственным гостем дома Шиллей участились.

Мистрис Анна, теща Шилля, на себе испытала одно из самых страшных посещений привидения. Она имела привычку спать совершенно одна в комнате второго этажа в задней части дома.

В одну из ночей, неделю спустя после первого появления в доме привидения, мистрис Анна долго не могла заснуть. Ее нервы были необычно напряжены.

Огонь тускло горел в ее комнате, а весь остальной дом был уже давно погружен во мрак и могильную тишину. Вдруг, без всякой видимой причины, свеча зашипела и огонь погас.

Мистрис Анна не имела времени размышлять об этом, потому что тотчас же почувствовала холодную, шершавую руку, нажимавшую ей на лицо. Рука, не переставая, нажимала на рот своей жертвы, и охваченная ужасом женщина почувствовала, что ей грозит страшная смерть. Она попыталась освободить себя от этой шершавой и липкой руки, но с ужасом чувствовала, что это ей не удастся.

Она уже была близка к потере сознания, как вдруг нажатие руки значительно ослабло и через минуту она увидела эту руку, висящую над ней и окруженную странным синеватым светом. Затем рука потускнела и исчезла как бы в клубе дыма и тотчас же после этого мистрис Анна услыша-



ла тяжелый топот шагов по полу. Звук шагов был такого рода, как будто кто-то прошел в залу и вниз по лестнице и вышел из дома. Когда шум замер в отдалении, мистрис Анна уселась на кровати и закричала, заставив своим криком сбежаться к ней весь дом....

В следующую ночь дух опять дал о себе знать, но на этот раз он ограничился тем, что грохотал всеми окнами и издавал такие крики и стоны, что разбудил жильцов соседних домов.

Так как, в большинстве случаев, стуки и крики доносились с чердака этого дома, то решено было обыскать его. Чердак был тщательно осмотрен, и на его полу были замечены следы крови. Тогда приступлено было к поднятию половиц и, к изумлению Шилля и всех присутствующих, под полом была найдена мужская рубашка, окровавленная и ра-

зорванная. Тогда вспомнили, что раньше этот дом принадлежал одному господину, найденному как-то утром на чердаке с перерезанным горлом, с головой, почти отделенной от туловища.

Те, которые видели привидение, как раз уверяли, что оно напоминает безголового человека. Впрочем, другие утверждали, что оно имеет формы гигантского, грубо отесанного животного со свирепыми глазами и могучими ногами и скорее напоминает медведя.

Вот что рассказывает по этому поводу мистрис Кэмпфилд, раньше жившая в этом доме:

«Одну из ночей, проведенных в этой ужасной квартире, я никогда не забуду. Я купала грудного ребенка и послала моего маленького сына за чем-то наверх. Вдруг я услышала, как он уронил вещи, которые он нес и, издавая крики, кубарем слетел с лестницы. Я никогда не забуду ужаса, написанного на его лице. Он, путаясь и сбиваясь, рассказал мне, что, когда он возился на чердаке, то услышал странный шум и затем увидел громадное черное существо, направлявшееся к нему. Оно несколько напоминало медведя, но было больше ростом.

Я не придавала этому его рассказу значения, приписав его обыкновенной детской фантазии, и сама собиралась подняться наверх, как вдруг навстречу мне показалось какое-то отвратительное черное чудовище. Как верно определил мой мальчик, это существо формой напоминало медведя. Самое страшное во всем этом было то, что в комнате отнюдь не царила темнота, так способствующая игре воображения, а горел газовый рожок».

Чтобы положить конец все разрастающимся толкам о привидении беспокойного дома, был избран комитет, состоявший из одиннадцати граждан города, и этот комитет решил провести ночь на таинственном чердаке дома. Чтобы как-нибудь протянуть время, члены комитета запаслись столом, стульями и несколькими колодами карт.

На столе была поставлена лампа и одиннадцать человек сели за стол и, играя в карты и болтая, терпеливо вы-

жидали появления привидения, так давно и так упорно тревожившего людей.



По мере того, как ночь надвигалась, присутствующие стали, видимо, нервничать, но силились скрыть эту свою нервность под маской веселья и шуток над отсутствующим привидением. Некоторые, смеясь, уверяли, что это просто голодный кот, другие говорили, что это большая крыса, а один умник даже высказал предположение, что и вовсе никаких явлений не было.

Вдруг, в ту минуту, когда члены комитета вступили между собой в жаркий спор о сущности явления, они почувствовали сильную тягу холодного воздуха. Свет лампы заколе-

бался на минуту и в глубине комнаты послышался звук шаркающих ног, а затем глухой стон, похожий на стон человека, умирающего в ужасной агонии. Звук волочащихся ног замер по ту сторону двери и в следующий момент, в то время, как все члены комитета, затаив дыхание, переглядывались между собой, двери медленно чуть-чуть приотворились. Из образовавшегося отверстия показался желтоватый, едкого запаха пар. Запах этот был до того отвратителен, что присутствующие стали почти задыхаться. Закашлявшись, они все вскочили на ноги и ринулись к дверям.

Но прежде, чем кто-либо из них успел достигнуть дверей, они снова закрылись, и когда кто-то из них попробовал их открыть, то, к невыразимому изумлению всех, нашел, что двери заперты на замок!

Комитет вернулся к столу, но теперь никто не разговаривал и никто не шутил. Затаив дыхание, все одиннадцать человек не сводили своих глаз с дверей. Прошло около десяти минут. За все это время не было слышно ни звука. И вдруг, с внезапностью, заставившей всех смертельно побледнеть, раздался резкий, ужасный крик и стенание, сопровождаемые звуком падающего тела. И что самое странное, это то, что звук, казалось, раздался в этой самой комнате, как раз в центре присутствующих!

Когда крики и стенания затихли, из дальнего угла комнаты послышался глухой звук царапанья. Все обратились в ту сторону, и в следующий момент с пола поднялся желтоватый клуб дыма. Он поднимался все выше и выше, распространяясь по комнате, и из самого центра стал вырисовываться образ какого-то животного. Дым постепенно густел и появилось туловище животного. Люди кинулись к этому видению, но раньше, чем они его достигли, оно исчезло.

После всего этого, комитет не нашел возможным высказать какое бы то ни было мнение об этом явлении. И оно остается до сих пор загадкой для всех.

Нужно ли прибавлять, что дом давно уже покинут его обитателями?

[Без подписи]

ПРИВИДЕНИЕ

ПРИВИДѢНІЕ.

(Съ датскаго)

Рассказ о привидениях?

Но я никогда не видал привидений.

Вообще, никаких привидений не существует.

Кто может приходить того света? Мертвые мертвы, и что прошло, то прошло...

Мой бедный брат, которому было только двадцать лет, поверил, что его звали, и он захворал, умер и последовал за той, которая его звала.

Это было, когда мама умерла. Мы, мой брат и я, лежали каждый в своей комнате; но дверь между нашими спальнями была открыта. Мы не спали в пустом доме. Один раз я услышал, как мой брат вздохнул.

Затем стало совсем тихо.

— Ты спишь, Олаф? — спросил я, боясь темноты.

— Нет, — ответил он. — А ты спал?

— Да.

И мы снова лежали, не засыпая.

Но вдруг я вскочил: снаружи, в окно моего брата, слышался один удар, затем еще и еще — три резких, решительных удара, как будто пальцем, худым, жестким, голым пальцем.

— Ты спишь, Олаф?

Мой брат ответил только, как раньше:

— Нет, а ты теперь спал?

Он тоже не говорил об ударах, о трех ударах. Слышал ли он их?

Олаф их слышал, стучали в его окно.

На следующее утро он сказал старой деве, которая носила его на руках, когда он был маленьким:

— Мария, сегодня ночью мама звала меня...

И с этого дня он захворал, он, такой молчаливый, с испуганными глазами — такой далекий, как-то странно далекий от нас остальных, как будто он ходил среди нас и все-таки был не среди нас, а далеко-далеко, — где-то там.

А через шесть месяцев мы проводили его туда, — на кладбище, туда, в землю, положили в гроб, рядом с мамой, которая звала его.

Я знал моего друга-немца с его раннего детства. Я следил также за страстью, которая однажды им овладела, с самого первого мгновения.

К сожалению, я знал также и женщину, которую он любил, — и я знал лучше, чем кто-либо другой, знал слишком хорошо, что она не была достойна его дум...

И все-таки я молчал. Я не говорил ему ничего. Я молчал — из заботы о нем, из заботы о ней, — что я знаю? Может быть, это было только из заботы о себе самом.

Но в тот день, когда мой друг все узнал, он пошел и застрелился.

Когда я услышал о его смерти, у меня было такое чувство, словно я убил его и (это было ужаснее всего) мне пришлось узнать, что он действительно ушел от нас с гневом против меня в своем сердце.

Ибо перед смертью он написал мне письмо. В нем было сказано:

«Я ухожу, потому что двое мне изменили, — говорилось в нем, — она и ты. Но ты вспомнишь меня!»

«Ты вспомнишь меня!»

Он был прав. Его жизнь и его смерть долго не покидали моих мыслей.

И я спал совершенно спокойно, без сновидений, очень спокойно.

Но вдруг я проснулся и почувствовал, что кто-то отворил дверь и вошел в комнату.

Я повернул голову и сказал совершенно беззаботно:

— Это вы, Андрей?

Андреем звали слугу, и я думал, что это был он. Но у двери я никого не увидел, и никто мне не ответил.

И вдруг — видит Бог, одной секундой раньше я даже и

не думал сделать этого — я повернулся в постели, поднял голову, и вон там, в кресле, в котором я обыкновенно сидел и читал; там, в углу, прямо против меня, — сидел он, он, мой друг, который застрелился, он, о котором я не думал в течение многих недель, сидел живой.

И я сказал громко, в пространство, по направлению к нему:

— Это вы, Арнольд, — что вам нужно?

Мне совсем не было страшно. Я видел только, что он сидел здесь, и я спросил.

Я продолжал смотреть на него, не чувствуя ничего похожего на страх, пока он не исчез.

— Как вы себя чувствуете? — спросила меня моя хозяйка утром, когда я пил свой чай, — я так беспокоилась за вас. Я сидела вчера вечером и ждала, пока уйдут последние гости; я сидела в маленькой столовой и читала. Но вдруг мне, не знаю почему, стало как-то не по себе, я положила книгу и подумала:

«Переиду-ка лучше в зал к гостям. Тогда они, может быть, уйдут, и мне можно будет пойти спать...»

Вдруг в доме раздался шум, ветер пронесся по всему дому, все двери открылись.

А собачонка, — как это было неприятно! — выскочила из своей корзины и завывала... Она стояла и выла передо мной, словно в доме был покойник...

(«Покойник в доме», — повторил я самому себе, и корни моих волос вонзились в кожу, словно ледяные иглы.)

Тут я сказала себе:

«Бог знает, может быть, жилец заболел...»

Я поднялась по лестнице, — у меня дрожали колени, да, дрожали, — и я стала прислушиваться у вашей двери. Но у вас все было тихо, я снова сошла вниз, и мне стало весело...

И я видел его во второй раз.

Я хочу сказать: его образ.

Это было в Париже.

Я вернулся домой с большого бала.

Один знакомый отвез меня домой в своем экипаже. Мы были очень веселы и говорили о самых невинных вещах на

белом свете. Надо добавить, что мы ничего не пили.

Мой знакомый вышел из своего экипажа, и мы еще немало поболтали, стоя перед моим домом, на тротуаре.

Наконец, я позвонил швейцару, входная дверь открылась. Я вошел в свою гостиную, сбросил свое пальто и все еще думал о нем, о моем знакомом, и о его лошадях, — тут я повернулся — и вон там, в углу, в кресле, лицом прямо ко мне, сидел он, — он, мой друг-немец, мой умерший друг, тот, который застрелился...

В своем мундире, устремив глаза на меня... прямо в мое лицо.

И без страха, без удивления, — словно его образ был чем-то, чего я ожидал, — я сказал:

— Это вы, Арнольд? Что вам нужно?

Он не двигался и в то время, как я слышал шум удалявшегося экипажа моего знакомого снаружи, на улице (я его ясно слышал), я продолжал смотреть на него, пока не исчез он...

Нет, нет, пока, значит, образ его не исчез. Хотя глаза, которые были устремлены прямо на меня, прямо на мое лицо, — я готов поклясться, жили: не моей жизнью, но другой жизнью, которая была сильнее жизни моих глаз — они жили...

...Я не знаю, много ли времени прошло или прошло ли вообще сколько-нибудь времени, как вдруг я вздрогнул: в мои ставни постучали.

— Кто там?

Я отворил, — признаться, мои руки дрожали. Когда я это сделал — я увидел за окном лицо моего парижского знакомого.

— Вы не больны? — закричал он в окно.

— Нет, совсем нет, почему? — ответил я, говоря очень спокойно.

— О, — сказал мой знакомый за окном, — значит, это была только глупая мысль... Вдруг, сидя в экипаже, я сказал самому себе, что вы наверное заболели, и велел кучеру повернуть.

— Ну, слава Богу, спокойной ночи.

Я сказал самому себе:

«Если он “напомнит” мне о себе в третий раз — не будет ли это потому, что он, наконец, захочет дать мне успокоение?»

И третий раз — станет последним разом...

Может быть, он в последний раз позовет меня — поманит рукой (его рука была всегда бледной, даже тогда, когда он жил, она была бледна) и позовет?

А я последую за ним; уйду с ним прочь, уйду, как ушел мой брат?»

И он снова сел в экипаж и уехал.

Итак, болезнь моего мозга была заразительна: она заразила, как и в первый раз, этого относительно чужого человека, который сидел равнодушно в своей коляске...

Да, вот это именно и странно.

Но, если даже какую-нибудь вещь нельзя объяснить, это еще не значит, что она должна нас пугать.

Однако, правда то, что у меня никогда не было такого спокойного состояния в течение всей моей жизни, как тогда, когда я его видел в первый раз, и когда я видел его во второй раз...

И. Гильд

**ОБЩЕСТВО ПОСТАВКИ
ПРИВИДЕНИЙ**

Джон Деррик, миллионер и директор-распорядитель Национального Общества Поставки Привидений, стремительно вскочил с кресла, сжимая в кулаке небольшой лист почтовой бумаги.

— Ни за что в жизни! — зарычал он, гневно глядя на злосчастное письмо, и яростно разорвал его надвое.

Мальчик с золотыми пуговицами задрожал, стоя на своем посту у дверей; молодой, бледнолицый клерк, подсматривавший в дверную скважину, решил, что теперь не время просить патрона о прибавке.

Джон Деррик, бегающий по кабинету, словно пантера в клетке, — зрелище совсем необычайное. Человек, который, приехав в Лондон в качестве простого туриста, в два года основал и поставил на ноги совершенно новое промышленное дело — конечно, не был неврастеником.



Случайно, в провинциальной гостинице, Деррик познакомился с привидением обезглавленного разбойника. Умея говорить на пальцах по способу глухонемых, он свободно беседовал с разбойником, и тот, положив на стол свою отрубленную голову, горячо жестикулировал, жалуясь на бедственное положение его братии.

Он-то и подал Деррику идею основать Национальное Общество Поставки Привидений. В эту ночь американец не сомкнул глаз, а на другое утро он сел на автомобиль и от-

правился объезжать все старые помещичьи дома Англии.

Он лично переговорил со всеми пользующимися известностью привидениями и вернулся в Лондон с пачкой контрактов на разные сроки и за разные оклады.

В следующем же месяце во всех английских и американских газетах появились объявления Джона Деррика, который изъявлял желание поставлять всем желающим привидения всех видов и размеров. Он знал, что в заказчиках не будет недостатка. И он не ошибся.

Особенно большой спрос шел из Америки. Разбогатевшие на торговле свиньями миллионеры бомбардировали Деррика срочными телеграммами с просьбами прислать им каких-нибудь фешенебельных призраков для освящения их вновь построенных роскошных родовых замков. Две дамы даже попали в тюрьму за то, что, боясь высоких пошлин, провезли контрабандой в Нью-Йорк несколько европейских привидений.

Один почтенный лорд напечатал в газетах письмо, в котором сетовал на то, что Америка обворовывает Англию и призывал правительство принять меры, чтобы пресечь расхищение родных сокровищ.

А Деррик, между тем, законтрактовывал кладбище за кладбищем и, когда истощились все английские источники, он стал вывозить привидения из-за границы. У него на службе появились гномы из Шварцвальда и колдуны из Шотландии. А ирландские вампиры имели самый блестящий успех.

Завидуя преуспеянию американца, другие предприниматели вздумали было конкурировать с ним, но Деррик временно пустил свои привидения по очень низким ценам и тем довел всех своих соперников до банкротства...

Да, это был железный человек, и потому стоявший у дверей кабинета мальчик был прав, когда решил про себя, что пустяк какой-нибудь не мог так взволновать миллионера этой марки и заставить его грозно кричать, обращаясь к клочку бумаги: «Ни за что в жизни!».

Но вот Джон Деррик поднял с ковра обе половинки разорванного письма и, расправив их на столе перед собой,

снова прочел следующее:

«Всемирный Союз всех Домовых и Привидений.

Милостивый Государь!

Нижеследующие решения были единогласно приняты на митинге привидений, принадлежащих к вышеназванному Союзу, состоявшемся прошлую ночью под Заколдованным Дубом:

1) Двойная сверхурочная плата за появления после пения петухов.

2) Пересмотр окладов, руководствуясь следующими минимальными требованиями: безголовые всадники — 5 шиллингов в ночь; башенные узники — 4 шилл. в ночь (со стенами — 1 шилл. в неделю экстра); дамы из рода Тюдоров — 4 шилл. в ночь (с криками — 2 шилл. в неделю экстра).

3) Не плавать во рвах в зимние месяцы.

Я уполномочен довести до вашего сведения принятые нами вышеприведенные решения и просить Вас сообразоваться сообщить мне, расположены ли Вы уважить изложенную просьбу.

С совершенным почтением Гюи Гюисборн,

Почетный секретарь Филиального Отделения
Всемирного Союза Всех Домовых и Привидений».

Но Деррик не был расположен уважить просьбу В. С. В. Д. П. Ни за что в жизни! Он с недоброжелательством следил за его возникновением. Считая себя человеком широких воззрений, платящим своим служащим отличные оклады, он не признавал никакого посредничества между работодателем и работником. А Гюи Гюисборна он искренне считал неблагодарной тварью. Не он ли, Джон Деррик, вытащил этого самого Гюи из жалкого прозябания? Что он был? — ничтожный, никому не известный призрак из рода

Тюдоров. А он, гениальный Деррик, сделал ему репутацию, возродил в общественной памяти его окровавленный кинжал, о котором все давным-давно забыли. А тот... о, неблагодарный!

А все остальные?.. жалкие привидения, без цели блуждавшие по кладбищам и по пустым домам, не умевшие заработать ни гроша в год, все они имели теперь приличные оклады. И вдруг... нет, это просто возмутительно!

Горькие размышления были прерваны телеграммой:

«Прошу прислать заместителя башенному узнику, покинувшему пост прошлой ночью, очень важно, жду гостей.

Смитсон».

Богач Смитсон был одним из самых выгодных заказчиков фирмы. Его отчаянный вопль отозвался в сердце Деррика первым грозным выстрелом начинающейся войны.

Не теряя времени, Деррик сам отправился к нему.

Смитсон встретил его на станции, смущенный, растерянный. Привидения забастовали. А между тем, судя по некоторым прорвавшимся в разговоре намекам, он сильно рассчитывал на их помощь в своем стремлении подняться на несколько ступенек вверх по социальной лестнице.

— Все бы ничего, — жаловался он, — если бы не Рождество. А то, подумайте! не иметь у себя в доме привидений накануне Рождества — это прямо неприлично! Я, к тому же, жду гостей. Будет полковник Дербак, сэр Адольф Джонс, леди Мира Морли и еще несколько военных. Некоторые придут, вероятно, уже со следующим поездом, и я просто не знаю, что я буду делать, если у меня не будет привидений. Полковник способен уехать на другой же день.

Деррик закурил сигару.

— Положитесь на меня, — твердо сказал он.

Приехав в замок, Деррик потребовал у дворецкого программу привидений на следующую ночь. Он внимательно изучил изящно разрисованный лист, который принято было вешать на ночь в спальни гостей.

Программа была составлена так:

«От полуночи до 2 ч. Главный коридор. Гюи Гюисборн.

От 2.30 до 3 ч. Красная спальня. Дама из рода Тюдоров (с криками).

От 3 ч. до крика петуха. Безголовые всадники блуждают вокруг дома.

Башенные узники гремят цепями всю ночь».

— Хорошенькое меню! — одобрительно проговорил Деррик.

Вечером, после обеда, американец незаметно вышел из дому и отправился побродить.

Да! все так, как он думал! По дороге к кладбищу привидения-забастовщики, верные резолюциям В. С. В. Д. П., стояли на страже, чтобы не пропускать к замку благоразумную часть товарищей, которые захотели бы явиться на работу.



В рощице, близ кладбища, Гюисборн, нервно жестикулируя, говорил зажигательную речь перед многолюдным собранием башенных узников.

Деррик спокойно прошел сквозь толпу и стал с краю, пронизывая глазами опьяненного собственной речью лидера стачки.

— Расположен ли оратор отвечать на вопросы? — холодно спросил американец.

Гюи опешил было, но овладел собой и с жаром выкрикнул заключительные слова своей речи:

— Кладбища не проснутся нынче ночью!

Деррик хотел было возражать, но целый хор загробных стонов и громкое звяканье цепей заглушили его слова. Он повернулся и ушел.

— И это, — проговорил он с горечью, — это те привидения, которых я вытащил из мрака забытых кладбищ и дан им в руки блестящий заработок!

Вернувшись в замок, он прямо пришел в бильярдную. Его голос звенел, когда он обратился с речью к пяти молодым офицерам.

— Джентльмены! — сказал он. — Мои привидения устроили стачку. Конечно, вы согласитесь со мной, что не следует лишать дам приятного ночного дивертисмента. Я приглашаю вас, джентльмены, выйти добровольцами на посты, оставленные подлыми забастовщиками.

— Мы готовы! — отвечали они с присущей военным людям решимостью.

Деррик посмотрел программу.

— Прежде всего, мне нужно кого-нибудь в башню.

— Беру эту роль на себя! — заявил полковник Дербах. — Смитсон говорил мне, что он держит там свои вина.

Все остальные посты были так же быстро разобраны, а сам Деррик взял на себя руководящую роль Гюи Гюисборна.

Он два часа бродил по коридору, издавая от времени до времени душераздирающие стоны. Наконец, ровно в два часа, он тихо приоткрыл дверь дубовой спальни и предстал перед прелестной леди Мирой Морли. На широком ложе из темного дуба лежала она, бледная и красивая, распустив по плечам свои волнистые, пышные косы.



— Ах, войди, войди, старина, — сказала она приветливо. — Ты очень похорошел с тех пор, как я видела тебя здесь в сентябре. Ну-ка, расскажи, каких людей видел ты здесь за это время. Были здесь симпатичные люди? Подойди, покажи-ка, что это у тебя там под саваном? Да никак ты во фраке?! Ай, ай, ай!!! Какие же это привидения разгуливают по замкам во фраках? Нет, уж это не годится! Тут что-то неладно!

Деррик хотел было скрыться за дверь, но второпях наступил на свою белую простыню и тут уж волей-неволей должен был признаться во всем.

Он рассказал ей, как он и гости-офицеры решили пожертвовать своим ночным покоем для того, чтобы не лишить прекрасных дам их обычного развлечения.

Взгляд молодой женщины горел восторгом, когда она слушала этого железного человека.

— О, скажите мне, — воскликнула она в страстном порыве, — не могу ли и я также быть вам полезной в этом деле?

Теперь настала его очередь взглянуть на нее с восторгом.

— Конечно, если вы только пожелаете, — ответил он. Умеете ли вы пронзительно кричать?

— Не хуже железнодорожного локомотива! — с гордостью заявила она.

— Тогда скорее в коридор и разыграйте им стенающую леди из рода Тюдоров.

С помощью очаровательной леди Миры Морли и доблестных офицеров, ночная программа была выполнена блестяще. Деррик только посмеивался, вспоминая грозное заявление забастовщиков: «Кладбища не проснутся нынче ночью!».

Гюи Гюисборн выдержал семь дней и, наконец, капитулировал. Однажды ночью он явился к Деррику с просьбой снова принять на службу его и его товарищей на прежних условиях.

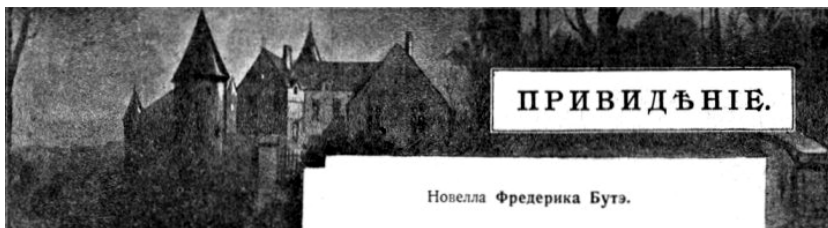
— Я принимаю обратно всех, кроме вас! — заявил Деррик, и Гюи с воплем исчез в трубу камина.

Железный американец смягчился только благодаря просьбам леди Миры, которая уговорила его простить беднягу Гюи и не лишать его честного заработка.

А в день не замедлившей последовать свадьбы Джона Деррика с леди Мирой Морли, в числе многочисленных подарков, им был поднесен сияющий фосфорным блеском адрес от Всемирного Союза всех Домовых и Привидений.

Фредерик Буте

ПРИВИДЕНИЕ



Господин и госпожа де Фоллиж приехали на месяц в сопровождении целой оравы гостей в свое поместье Морван.

Мосье де Фоллиж, мещанин во дворянстве, с первой же минуты приезда, по обыкновению, принимал облик и повадки заправского землевладельца: бархатная куртка, гетры, трубка, охота с гончими, обильная еда и возлияния, крепкий сон...

Мадам де Фоллиж, по привычке, в первые три дня шныряла по всему парку и замку, чтобы оживить в своей памяти и сердце трогательные воспоминания детства, ибо поместье перешло к ней по наследству от бабушки, и здесь она воспитывалась.

Ивонна де Фоллиж надеялась провести время весело и разнообразно. Ожидали приезда Станислава де Бризе, который с конца июня был любовником Ивонны и которого, благодаря ее дипломатическим уловкам, муж сам настоятельно пригласил.

Впрочем, за все это время, они успели встретиться в интимной обстановке всего только три раза, и причиной тому были неизбежные переезды с места на место. Зато Ивонна рассчитывала вознаградить себя с лихвой за время пребывания в замке, где были налицо исключительно благоприятные условия, известные только ей.

Мосье де Бризе прибыл ранним утром. Разбитый после бессонной ночи, проведенной в поезде, поживаясь от холода, но, как всегда, безукоризненно элегантный, он выскочил из автомобиля, когда мосье де Фоллиж тут же накинулся на него со своими охотничьими подвигами и, вопреки слабым попыткам увильнуть, потащил его на охоту на

серну. У мосье де Бризе едва хватило времени переменить костюм и повидаться с Ивонной.

Упорство преследуемой серны и ее из ряда вон выходящая ловкость были причиной тому, что удовольствие длилось почти до сумерек, и де Бризе едва держался на ногах, когда, наконец, удалось вернуться в замок и сесть обедать. Боясь, как бы не уснуть от усталости, он пил много и часто, ел же еще больше после целого дня, проведенного на воздухе.

Ивонна, которой, несмотря на все ее усилия, не удалось еще перекинуться с ним и парой слов с глазу на глаз, находила, что он ест слишком много и пьет не в меру... К сожалению, высказать вслух свои соображения было невозможно.

В курительной комнате Фоллиж, по обыкновению, подробно посвятил нового гостя в историю поместья, со всеми ужасами средневековья, убийствами, казематами, подземельями и орудиями пытки. С гордостью он сообщил, что про замок идут слухи, будто там бродят по ночам страшные призраки жертв, и что как раз в комнате, отведенной де Бризе, показывается привидение молодой графини, замурованной заживо в 1310 году ее мужем, свирепым феодалом, несправедливо обвинившим ее в благосклонности к своему пажу.

Де Бризе, слегка подвыпивший и весьма суеверный, но не желавший показать это, скептически улыбался и заявил, что с удовольствием познакомится поближе с интересным привидением. Но в глубине души ему было не по себе, и он думал, что хозяева могли бы отвести для него какую-либо другую комнату.

После краткой попытки сыграть в бридж, хозяева и гости, часов около одиннадцати, разошлись по своим комнатам.

Де Бризе, преследуемый тревогой, которую заронили в его душу рассказы де Фоллижа, слегка вздрогнул, когда увидел себя совершенно изолированным в огромной комнате, непомерно высокой и оклеенной мрачными обоями. Ему казалось, что в углах мелькают странные тени; он напра-

женно прислушивался к жалобному вою ветра и заглядывал под кровать. Но голова кружилась от усталости. Не будучи больше в состоянии держаться на ногах, он лег и уснул.

Между тем, Ивонна, одна в своей туалетной комнате, медленно раздевалась. Осторожно она закрыла задвижку двери, отделявшей ее от половины мужа. Полураздетая, с распущенными волосами, она несколько минут прислушивалась к тому, что происходит в комнате мужа, и вскоре оттуда донесся его богатырский храп. Ивонна отлично знала, что теперь можно не тревожиться до утра, и тихо прошла в свою спальню. Здесь она накинула на себя очаровательный кружевной пеньюар, открыла огромный стенной шкаф, вошла в него и стала ощупывать заднюю стенку. Узкая дверца, повинуясь нажатой пружине, тихо открылась в маленький коридор. Ивонна осторожно двинулась вперед. Это был потайной ход, о существовании которого она знала с детства, но почему-то скрyla эту особенность от своего мужа.

С лампой в руках, легкая, как привидение, Ивонна быстро скользнула в глубь хода; ее забавляло удивление и радость де Бризе, когда он неожиданно увидит свою возлюбленную выходящей точно из стены; дело в том, что потайной ход вел к замаскированной дверце, открывавшейся в комнату, отведенную новому гостю.

Между тем, мосье де Бризе, не подозревавший о близком счастье, храпел во всю мочь. Оставив лампу в проходе и полуоткрыв дверцу, она вошла в комнату, слабо освещенную дорожным ночником. Герой лежал на спине, зарывшись головой в подушку, с открытым ртом. Наусники, прикрепленные резинками к ушам, приплюснули верхнюю губу; на щеках залегли от резинок глубокие борозды. Реденькие волосы убогими прядками спадали на шею, обнажая местами лысинку. Фланелевая сорочка, в розовых и зеленых полосках, слегка распахнулась на груди, откуда с шипением и свистом вырывался оглушительный храп.

Ивонна, как прикованная, остановилась, не зная, убежать ли ей или разбудить его. И вдруг под ее ногами скрипнули

половицы...

Храп сразу прекратился. Спящий заерзал, зачмокал и полуоткрыл глаза. Прежде всего он заметил, разумеется, выделяющуюся в полумраке белую фигуру молодой женщины. Растерянный спросонок взгляд моментально принял выражение ужаса, безумия. Со вздыбившимися волосами, с выступившими из орбит глазами, де Бризе, словно подброшенный пружиной, сел. Невыразимый страх свел его лицо в отвратительную гримасу. С диким ревом он ринулся к двери, закрываясь от ужасного видения всем, что попало под руку, — подушками, одеялом, простыней.

Привлеченные дикими криками и шумом, со всех сторон сбежались в коридор остальные гости, пытавшиеся успокоить несчастного. Сначала он яростно отбивался от них, окончательно потеряв голову, и только когда его облили холодной водой, он пришел в себя. Через четверть часа он отдышался и рассказал, что его посетило страшное видение, но большинство гостей только улыбались, намекая на слишком плотный обед и неизбежный в таких случаях кошмар. Что же касается де Фоллижа, то он во все поверил, был вне себя от радости и готов был расцеловать де Бризе за столь убедительное доказательство присутствия в замке всякой чертовщины. Это окружало замок новым ореолом. Ивонна, в дивном зеленом пеньюаре, с распущенными волосами, была тут же. Она успела улизнуть в потайной ход и захлопнуть дверцу. Затем, быстро переодевшись, она постучалась к мужу и вместе с ним прибежала на шум, как бы ничего не подозревая.

С той ночи де Бризе, по совершенно неизвестной для него причине, перестал существовать для Ивонны де Фоллиж. Ему отвели другую комнату, не имевшую дурной славы. Его же комната через два дня досталась новому гостю, молодому офицеру, кузену Ивонны, который был смелее и знал, как обращаться с прекрасными привидениями...

Элино́р Гли́н

ТАЙНА ПРИВИДЕНИЯ

Мистрис Чартерс уютно расположилась в купе и отпустила лакея, внесшего ее вещи. Она была высокая, тоненькая женщина лет двадцати восьми, не красавица, но лучше, чем красавица — удивительно изящная и грациозная. Супруг ее, довольно скучный господин, отправился к праотцам года три назад, оставив молодой вдове своей весьма изрядное наследство, которое, впрочем, теперь оспаривали родственники Чартерсов по младшей линии. За неделю до своего отъезда Эстелла получила довольно неприятное письмо от своего поверенного, сообщавшего ей, что если не найдется одно затерянное брачное свидетельство, она рискует лишиться большей части своего состояния.

Дело в том, что прапрадед ее мужа тайно обвенчался с дочерью разорившегося аристократа, которая потом бросила его, оставив ему сына, о рождении которого известно было лишь немногим, и уехала с отцом в Италию, где вышла замуж за какого-то итальянского графа и вскоре умерла. Покинутый муж утешился довольно быстро и перенес всю свою любовь на сына, которому и завещал большую часть своего состояния несмотря на то, что у него были и другие дети, от второго брака. И вот, ссылаясь на то, что в завещании прапрадеда было только сказано: «Моему законному старшему сыну и его наследникам», без упоминания имени, наследники этих других детей теперь оспаривали завещание прапрадеда, доказывая, что получивший наследство был незаконный сын, ибо никаких доказательств его законности не имеется. Необходимо было разыскать свидетельство о бракосочетании прапрадеда с покинувшей его первой женой.

Эстелла так задумалась обо всем этом, что и не заметила, что она не одна в купе. Единственный спутник ее сел на одной с ней станции, но она тогда не обратила на него внимания. Но теперь, почувствовав на себе пристальный взор, она невольно подняла глаза. Перед ней был невысокий, худощавый брюнет южного типа с красивыми чер-

ными глазами. Но взгляд этих глаз почему-то был ей неприятен и под ним ей становилось жутко. Если б она знала, что перед отходом поезда он ходил по платформе и разглядывал ее вещи, проверяя, куда она едет, она удивилась бы еще больше.

— Если не ошибаюсь, вы м-рс Чартерс? — обратился к ней сосед. — Мы едем в одно и то же место. Позвольте представиться: Амброз Дюваль. Я встречался с Гардрессами за границей, по приезде в Англию возобновил знакомство; и вот, они меня пригласили провести у них в имении Рождество.

Эстелла ехала гостить на Рождество к своей подруге, Аде Гардресс, недавно приобретшей запущенное старинное поместье Иртонвуд, где были, по уверениям Ады, и дубовые панели, и полы со скрипом, и подземные ходы, и комната, где появляется призрак Белой Дамы — словом, все, что может соблазнить романтическую женщину. И это действительно соблазнило Эстеллу. Все это она рассказала своему спутнику, который очень допытывался, бывала ли она когда-нибудь раньше в Иртонвуде. И, по-видимому, не очень верил ее отрицаниям.

В Иртонвуде их встретили с распростертыми объятиями. Тут были и остролистник, и омела, и огромные поленья во всех каминах, и множество восковых свечей, заменявших недостающее электричество — словом, настоящее английское Рождество. Комната, отведенная Эстелле, понравилась ей чрезвычайно. Это была большая спальня с панелями из кедрового дерева, оранжевыми шелковыми занавесями на трех высоких окнах и огромной двуспальной кровати на четырех столбах под балдахином. Перед тем, как привести ее сюда, Ада ухитрилась оставить Эстеллу минут на пять вдвоем с сэром Джорджем Сифильдом, который давно был влюблен в нее и тотчас начал ее корить — зачем она его обманула, не поехала с тем поездом, как обещала, и ему пришлось ехать одному. Неужели она не боится одна? Неужели думает, что она, при всяких обстоятельствах, может справиться одна и без помощи и защиты?

— Ну конечно, — смеясь, возразила Эстелла. — А если не

справлюсь, тогда скажу вам.

— Молю судьбу, чтоб это было поскорее! — горячо воскликнул влюбленный.

Ада покровительствовала сэру Джорджу и негодовала на подругу, зачем она мучает его; Эстелла смеялась и говорила, что англичанам полезно ждать. Когда Ада предложила ей отдохнуть с дороги перед обедом, она охотно прилегла на довольно жесткий диванчик и тотчас задремала. И ей привиделся странный сон.

Во сне она испытывала какое-то странное волнение, напряженное ожидание... Вокруг нее была темнота; но вдруг, среди этой тьмы, ярко осветилось одно местечко, и она увидела старинную шифоньерку. Ничего другого она не видела: ни комнаты, ни прочей мебели — одну только старинную шифоньерку, на которой лежал развернутый, старый, пожелтевший пергамент, и на нем — капли свежей крови.

Она проснулась в испуге. Что за нелепый сон?.. Действительно, это комната привидений. В конце концов, она не уверена, что ей это так уж нравится.... Одеваясь к обеду, она все время видела перед глазами старинное бюро, пергамент и на нем капли крови.

— Какая вы бледная и взволнованная, — говорил ей с нежной заботливостью сэр Джордж, ведя ее к столу. — Что случилось? Я хочу знать.

Он внимательно выслушал ее рассказ о странном сне, но еще внимательнее слушал другой сосед Эстеллы, красивый полуиностранец, приехавший в одном с ней поезде. И, когда она выразила предположение, что это — вещий сон, который указывает ей, где она должка искать пропавший документ, оба разом воскликнули: «Документ? какой документ?» Но в то время, как глаза сэра Джорджа выражали только изумление, г. Дюваль насторожился так, словно дело касалось его лично. «Почему это его так интересует?» — удивлялся сэр Джордж. Но м-рс Чартерс не имела привычки распространяться о своих личных делах и поспешила, смеясь, переменить разговор.

Сэр Джордж Сифильд был чрезвычайно недоволен: «Причем тут этот иностранец, который уже успел вскружить го-

ловы всем здешним дамам? Откуда его выкопала Ада Гардресс? И что она находит в нем интересного и таинственного?.. По-моему, у него препротивная физиономия...» Еще более рассердился он, когда, немного погодя, устроились танцы и Эстелла закружилась в объятиях иностранца. Он даже щелкнул зубами от злобы. «Ну, уж это дудки!» — сказал он себе и тотчас же, улучив удобный момент, пригласил м-рс Чартерс на вальс.

— Какой вы сегодня сердитый, сэр Джордж, — смеясь, говорила Эстелла. — Мой предыдущий кавалер был гораздо приятнее.

— Я готов свернуть ему шею. У него такая рожа, что на месте хозяев я бы припрятал подальше свое серебро.

— Удивительно, как мужчины способны злиться друг на друга. И за что? За то только, что он иностранец, что у него хорошие манеры и нет настроений...

— Вам он нравится? Впрочем, это и так сразу видно.

— Если вы будете говорить неприятные вещи, я брошу вас и пойду опять танцевать с ним. Он вальсирует божественно.

Сэр Джордж сверкнул глазами.

— Если вы это сделаете, я наверное сверну ему шею.

— Что за нелепость? Англичане так грубы...

— Как вы мучаете меня, Эстелла!... — сэр Джордж вдруг оборвал на полуслове.

— Кто вам дал право называть меня так? Что за дерзость! — но в эту минуту Эстелла заметила, что ее кавалер не слушает ее, а смотрит с необычайным интересом на портрет, висящий на стене напротив — портрет женщины в костюме конца XVIII века, но с вьющимися, ненапудренными волосами. Нельзя сказать, чтобы этот портрет был написан особенно художественно; но он был необычайно похож на саму Эстеллу. Оба изумлялись этому сходству, допытывались, кто изображен на портрете, и не могли узнать. Хозяин, смеясь, уверял, что это портрет Белой Дамы — той самой, которая появляется призраком в библиотеке и в кедровой комнате.

— Это где меня положили спать? — с комическим ужасом вскричала Эстелла. — Ну, знаете, я начинаю бояться.

— Я буду сторожить у вашей двери, — обещал сэр Джордж. — Если вы испугаетесь, кликните меня, я заколю для вас любое привидение.

— Интересно знать, кто спит рядом со мной, — осведомилась Эстелла. И ей стало немного неприятно, когда ей сказали, что рядом с ее спальней нет другой жилой комнаты.

— Вы же говорили, что обожаете привидения и все такое, — смущенно оправдывалась хозяйка, — иначе бы я не положила вас в кедровой комнате.

— Да, да, конечно, — Эстелла была горда и не хотела сознаться, что боится. Но теперь она уже сама предложила сэру Джорджу провальсировать с ней, говоря:

— Мне что-то холодно. Надо согреться.

В комнате с желтыми занавесками было так уютно и тепло, что она скоро уснула. Но на заре проснулась в смертельном страхе — ей вновь приснился тот же сон: темнота, шифоньерка, пожелтевший пергамент и на нем капли свежей крови.

II

Последующий день — Рождество — был полон всяких развлечений, но Эстелла Чартерс была удручена своими мыслями. Что за странная связь между ней и этим домом? Чей это портрет, похожий на нее? И что это за странные сны, рисующие ей, быть может, то самое брачное свидетельство, которое ей так важно найти для своего процесса. Ведь деньги, собственно, не ее, а ее покойного мужа; казалось бы, тогда и портрету следовало походить не на Эстеллу, а на его мать или на одну из его сестер. Чтобы развлечься, она с увлечением болтала с м-ром Амброзом Дювалем, повергая в полное отчаяние влюбленного сэра Джорджа. Он весь день тщательно следил за проклятым иностранцем и убедился,

что он не без цели приехал в Иртонвуд. Что-то уж чересчур внимательно осматривал он каждую комнату и всю мебель, особенно в библиотеке. Это он и заметил первым старую шифоньерку, стоявшую у окна и служившую теперь письменным столом.

— Эта, пожалуй, вроде той, которую вы видели во сне, — молвил он, скользнув взглядом по лицу м-рс Чартерс.

Эстелла вздрогнула — шифоньерка, действительно, была как две капли воды похожа на ту.

Но она только нервно рассмеялась и уклонилась от прямого ответа.

Господин Дюваль осматривал шифоньерку очень внимательно, проводя пальцами и по бокам, и по поверхности ее и повторяя:

— Здесь, наверное, есть какая-нибудь потайная пружина. Вот было бы забавно, если бы ваш сон сбылся на деле и обнаружился пергамент и на нем капли крови.

Но почему-то Эстелле не хотелось, чтобы он нашел этот пергамент. Если на самом деле тут есть потайная пружина, она предпочла бы отыскать ее одна или же вместе с Адой.

У сора Джорджа роились в голове странные мысли. Он почему-то был уверен, что иностранец ночью попробует открыть шифоньерку. Настолько уверен, что решил не раздеваться и попытаться поймать его.

И когда все разошлись по своим комнатам и в библиотеке погасили огни, он прокрался туда на цыпочках со свечой и прилег на диване за ширмой.

Жутко было Эстелле возвращаться опять в комнату привидений. Она была недовольна собой, своей нервностью, своими капризами; ей было совестно, что она так мучает сэра Джорджа. Тем не менее, скоро глаза ее стали смыкаться, и все затянулось туманом. Но из тумана снова выдвинулась освещенная шифоньерка и возле нее какая-то неопределенных очертаний фигура, которая как будто кивала ей и манила ее к себе из теплой к мягкой постели.

И Эстелле казалось, что она, как очарованная, но без страха, идет за привидением в белом платье и с лицом, похожим на ее лицо. Идет к камину; и панель возле намина ото-

двигается в сторону, обнаруживая темное отверстие, и она идет дальше в темноту, вслед за ведущим ее привидением...

.

Тем временем, в библиотеке мирно дремал на диване за ширмой верный рыцарь Эстеллы. Часы пробили два. Огонь в камине почти догорел, но в верхнюю часть окна, не закрытую ставней, светила луна, и в лунном свете ясно выступала старая шифоньерка, стоявшая у окна.

Сэр Джордж только что подумал, что, должно быть, он ошибся и иностранец давно уже спит, как дверь слабо скрипнула. Кто-то осторожно, на цыпочках, шел через комнату. Он скорее почувствовал, чем услышал, что это был Дюваль. Иностранец неслышно подошел к окну и приотворил ставню, чтобы пропустить больше света. Сэр Джордж вскочил на ноги и, притаившись за ширмой, ждал, следя за каждым его движением.

Дюваль осторожно поднял крышку бюро и начал разыскивать потайную пружину. Раза два он вскидывал голову, словно ища вдохновения, и в эти минуты что-то сатанинское было в его красивом лице.

Очевидно, он нашел, что искал. Откуда-то мгновенно вскочил потайной ящик, и Дюваль вскрикнул от боли: по видимому, пружина прищемила ему палец. Но тотчас же <он> принялся шарить в ящике и вытащил оттуда какой-то сверток бумаги. Сэру Джорджу этот сверток показался похожим на пергамент и, когда Дюваль наклонился над ним, на бумагу упали с раненого пальца несколько капель крови.

Все было именно так, как видела во сне Эстелла.

Сэр Джордж чувствовал, что пора вмешаться, но прежде, чем он успел шагнуть вперед, вор поднял голову и вдруг затрясся, помертвел и с ужасом уставился в дальний угол, выронив бумагу, упавшую на шифоньерку.

Сэр Джордж посмотрел в ту сторону и сам почувствовал что-то весьма похожее на страх. Отделившись от стены, в которой не было двери, к ним приближалась высокая, строй-

ная женская фигура в какой-то широкой белой одежде, с вьющимися ненапудренными волосами. Она казалась воздушной и призрачной и скользила неслышно, безжизненно; большие и серые глаза ее были широко раскрыты и смотрели недвижным и пристальным взором, как у покойника; но лицо было лицом Эстеллы.

Она вступила в полосу лунного света, и Дюваль в смертельном ужасе попятился от нее назад. Тогда привидение протянуло руку, казавшуюся в лунном свете прозрачной, и, схватив пергамент, так же неслышно скользнуло назад, туда, откуда пришло. Но Дюваль, видя, что драгоценная бумага ускользнула из его рук, опомнился и со сдавленным криком ярости кинулся вслед за ним. И очутился в сильных объятиях англичанина.

Пока они боролись, привидение скрылось. И сэр Джордж выпустил Дюваля, который был вне себя от испуга и гнева.

— Как вы смеете? — восклицал он, задыхаясь и вытаскивая из кармана револьвер. — Вы поплатитесь за это жизнью.

— В таком случае, вас повесят за убийство, — спокойно ответил сэр Джордж. — Я вам советую сегодня, и пораньше, убраться из этого дома, не то я изобличу вас, как вора.

— Я не вор. Как вы смеете нападать в доме ваших друзей на такого же гостя, как вы? Я требую удовлетворения.

— Ничего подобного вы не получите. Не стану я драться с вором. Послушайтесь лучше моего совета и уезжайте без скандала, подобру-поздорову. Револьвер есть и у меня, и я недурной стрелок, так что вам могло бы прийтись плохо, а такие господа, как вы, любят жизнь.

По-видимому, эти нелестные слова все же произвели впечатление. Иностранец спрятал револьвер в карман и отступил к двери.

— На этот раз вы победили, — пробормотал он сквозь зубы, — но когда-нибудь мы с вами сочтемся.

— Это как вам будет угодно. А теперь ступайте, у меня есть более важное дело.

.

Он разбудил хозяев, и те, перепуганные, в ночных костюмах, отправились с ним в комнату Эстеллы. Она была заперта изнутри. На стук и зовы никто не откликнулся. Они выломали дверь — увы, комната была пуста. На смятой постели никого не было. Все трое переглянулись и побледнели. Куда же девалась Эстелла? Что это за таинственное исчезновение?

Сэр Джордж торопливо исследовал комнату. Окна были плотно закрыты; занавеси опущены. Очевидно, Эстелла могла уйти оттуда только какой-нибудь потайной дверью. Но откуда же она могла знать, где эта дверь? Что, если она ходит во сне и попала в какой-нибудь тайник и лежит там, как мертвая?.. Ада плакала на диване; муж ее и сэр Джордж растерянно переглядывались, не зная, что делать.

— Разбудите слуг, пошлите за каменщиком и плотником, — внезапно решил сэр Джордж. — И за доктором тоже. Да нельзя ли добыть топор? Пока что, я бы сам попробовал сорвать панели.

Он так деятельно принялся за работу, что вскоре у камина обнаружилась выдвигаемая дверь. Задвижки на ней были заржавленные и отодвинуть их удалось лишь с большими усилиями. Как могла отодвинуть их слабая, хрупкая женщина?..

Лампа осветила узкий и низенький коридор, местами со ступеньками, такой узкий, что широкоплечий сэр Джордж еле протиснулся в него. Под лесенкой, за поворотом, на полу лежала фигура женщины в белом. Это, несомненно, Эстелла. Но жива ли она?

Он мигом передал лампу Джеку Гардрессу и вынес на руках свою любовь из темного, узкого тайника. На лбу у нее был шрам, должно быть, от удара при падении; рука, запачканная кровью, все еще сжимала бумагу, из-за которой, по-видимому, разыгрались все трагические события этой ночи. Нестерпимо мучительно было тащить ее, бесчувственную, вместе с Джеком, за руки и за ноги, по темному коридору, но иначе пройти было невыносимо. Зато с какой искренней признательностью вырвалось у сэра Джорджа:

«Слава Богу!», когда доктор объявил, что Эстелла жива и скоро придет в себя.

— Она, должно быть, ходила во сне, — сказал доктор, — и, споткнувшись, упала и ударилась головой о камень. Но причиной обморока было не столько падение, сколько спертый воздух в подземном ходе. Если б вы опоздали на час, ее бы, пожалуй, и нельзя уж было спасти.

Таким образом, трагическая мочь сменилась радостным утром. Под вечер к больной допустили ее рыцаря, и он нашел ее лежащей на подушках, с повязкой на лбу, смертельно бледной, но с радостным светом в глазах. Он опустился перед ней на колени. Она протянула ему обе руки.

— Джордж, как вы были добры ко мне! Должно быть, я таки не могу сама усмотреть за собой, и...

Но он не дал ей договорить и зажал ей рот поцелуем.

Бумага оказалась свидетельством о бракосочетании Джона Чартерса с Марджори Вильдекр, совершенном в деревушке Лейшир в 1795 году. А иностранец — одним из наследников младшей линии, принявшим имя своей матери-француженки, чтобы удобнее скрыть свою личность. Он знал, что некогда этот замок принадлежал роду Вильдекров, что в нем жила Марджори, и решил искать там брачное свидетельство. Но ему помешало привидение. Дело в том, что итальянский граф, за которого вышла вторично Марджори Вильдекр, оказался прадедом Эстеллы. Отсюда и фамильное сходство. И, как ни доказывал сэр Джордж Сифильд своей милой жене, что денег у него достаточно и спорного наследства ему вовсе не нужно, он не мог не признать, что на свете есть много такого, что и не снилось философам.

[Без подписи]

ПРИЗРАК

Смеркалось. В маленькой гостиной было уже совсем темно. Окна были завешены плотными бархатными портьерами. Эту пору дня графиня любила так же, как мягкие персидские ковры, в которых бесшумно тонет нога, — как и гладкие, мягко лежащиеся материи и неопределенно сумеречные краски.

Она ненавидела все, что лезло на первый план, что шумно и суетливо требовало к себе внимания и своего признания. В ее гостиных, которые были открыты лишь для немногих избранных, царил постоянно сдержанный аристократический тон.

И, вероятно, каждый из гостей находил, что присутствие здесь же Гектора Николича является не чем иным, как грубой дисгармонией.

О, этот Гектор! Каждый раз, как он начинал говорить, графиня нервно вздрагивала. И было это не из-за содержания его речей, — хотя его грубоватые остроты сильно разнились от утонченных пикантностей, раздававшихся здесь обыкновенно, — а исключительно из-за громкого, грохочущего голоса, звучавшего эхом из всех углов и ниш и совершенно не подходившего к всему окружающему.

Как-то Франсис Рейнгард, прекрасный Франсис с нежным цветом лица и мягкими кудрями, шутливо выразился о голосе Николича:

— Благородные словаки, родители нашего Николича, были, по-видимому, очень слабы в классической истории, иначе они назвали бы своего сыночка вместо «Гектор» — «Стентор», глашатай в споре.

Шутку передали из уст в уста и больше всех смеялась ей хозяйка дома. Гектор, который сидел за ней и чуткое ухо которого восприняло каждое слово, произнесенное шепотом, наклонился вперед:

— Не думаете ли вы, сударыня, что для господина Рейнгарда могло бы быть опасным раздражать меня, а для вас не менее опасным смеяться надо мной?

На этот раз он говорил тихо, так тихо, что никто, кроме графини, не мог слышать его слов.

Она ленивым движением повернула к нему голову:

— Что означают ваши намеки? Я не любительница разгадывать загадки.

— Но, графиня, у меня просто явилась мысль привлечь насмешников на свою сторону. Что бы вы сказали, например, если бы я рассказал почтенному обществу историю, случившуюся со мной этой ночью?

Эти слова он произнес громко, намеренно или нет, — кто знает? Но его голос проник через тишину полутемной гостиной во все уголки комнаты.

— Историю? Мне, конечно, придется выйти? — послышался голос семнадцатилетней Ренаты, которую мама каждый раз высылала из комнаты, когда Гектор принимался за свои рассказы.

Под покровом темноты чья-то лихорадочно горячая рука отыскивала руку графини. Но холодные тонкие пальцы были отдернуты прочь и, слышное лишь для Гектора, с уст графини сорвалось:

— Как это дурно!

— Выйти? Да, нет же, нет, не надо. То, что я расскажу сейчас, может слышать самый чистый ангел. Это не будет ни каламбур, ни анекдот из юмористического журнала, а совершенно правдивая история, в истине которой я могу поклясться перед всеми людьми. Только не надо пугаться, потоку что речь в ней будет о призраках.

Он злобно расхохотался и пристально взглянул на графиню Сусанну, тщетно пытаясь угадать в темноте выражение ее лица в этот момент.

Слегла хриплым голосом он продолжал:

— Итак, вчера ночью я никак не мог заснуть. Здесь начинается моя история. В комнате было душно, невыносимо душно. Я открыл дверь и вышел в переднюю, через широкие открытые окна которой врвался прохладный ночной воздух. Это меня облегчило. Необходимо сказать, что я снял башмаки, чтобы не разбудить соседей. Это было глупо, потому что в конце коридора, как раз против вашей комнаты, господин Рейнгард, мне пришло в голову, что не могу же я отправиться погулять по саду в одних чулках. Пришлось бы, таким образом, возвратиться назад в свою келью.

А между тем, на воздухе было так хорошо, лунные лучи так красиво падали вдоль коридора, что я взял и остался там, где был, — в темной нише против дверей комнаты господина Рейнгарда.

И вот тогда-то я и увидел призрак. Подходил он бесшумно и медленно, как это и приличествует призраку, закутанный в белые, длинные одежды, с лицом, закутанным белой вуалью.

Кстати, графиня, нет ли среди ваших предков какой-нибудь не находящей себе покоя дамы, которая бродит привидением по замку? Вы не отвечаете? Прошу извинения, я спросил не случайно. Дело в том, что как только призрак очутился в части коридора, освещенной луной, легкий порыв ветра приподнял его вуаль, и поистине, если бы я не знал, что это невозможно, я поклялся бы, что призрак, который бесшумно скрылся в комнате господина Рейнгарда, были вы, графиня, — так поразительно было сходство.

Несколько секунд тишина и сумрак царили в гостиной, затем кто-то неожиданно зажег спичку и это осветило комнату на несколько мгновений: стало видным злобное лицо Гектора с зелеными мерцающими глазами, впившимися в лицо графини, это спокойное, неподвижное лицо, мраморная бледность которого напоминало статую. Колеблющееся пламя осветило лица и остальных присутствующих, на которых были выражены все степени от изумления до гнева, от злости до безграничного возмущения. Осветило оно и дрожащую фигуру белокурого Франсиса, который, схватившись за ручки кресла, казалось, готов был упасть в обморок.

Но никто не мог уловить сразу всей картины, так как так же быстро и неожиданно, как она загорелась, спичка, которой зажег свою сигару граф, потухла, и теперь закуренная сигара колыхалась в темноте, подобно гигантскому светлячку.

— Вы ошибаетесь, дорогой друг, — раздалось оттуда, где танцевала в воздухе ее красивая искорка, — то, что вы видите, вовсе не было призраком, — это, действительно, была моя жена. Мне надо было вчера вечером кое о чем по-

беседовать с господином Рейнгардом и я отправился к нему в комнату. Дальше произошло так, как это вечно случается: он — артист, я, как вы знаете, увлекаюсь искусством, мы завели бесконечный разговор, забыли время и место, и если бы графиня, обеспокоенная моим долгим отсутствием, не пришла бы за мной, то, наверное, мы сидели бы и острили еще и до сих пор. Не правда ли, дорогой Франсис?

Вздых облегчения чуть слышно пронесся по гостиной. Только Гектор, грубо и полузаглушенно, пробормотал:

— Да, черт поверит этому...

— Тогда вам придется отправиться в сад, господин Николич: вы безусловно причислите себя к этим верующим чертям, ибо я вам даю честное слово, что все было так, как я сказал. А теперь, дорогой Франсис, зажгите электричество и дайте руку моей жене. Пора садиться за ужин.

На следующее утро на охоте произошел печальный случай.

Граф, отделившийся от остального общества, споткнулся и упал на свое ружье. Курок был взведен и весь заряд попал ему в грудь. Когда его разыскали, он был уже мертв.

Три недели спустя Франсис, белокурый, нежный, изящный Франсис, во время незначительного спора за карточным столом ударил по лицу Гектора Николича.

Секунданты еще до сих пор говорят о непонятной горячности и энергии, которые молодой человек проявил на дуэли. На двенадцатой минуте он получил страшную рану в голову, — от которой ему суждено было умереть через три дня, — но продолжал драться и еще через две минуты Гектор, пронзенный шпагой прямо в сердце, лежал на земле.

Графиня носит теперь белые одежды и густую вуаль и днем. Ее имя теперь — сестра Мария-Магдалина.

Артур Конан Дойль

СТРАННЕЕ ВЫМЫСЛА

Оглядываясь назад, на собственную жизнь, в поисках необычайного и странного, вы чаще всего находите это необычайное отнюдь не в материальных фактах жизни. Мне, например, посчастливилось прожить жизнь довольно бурную, полную приключений, и посетить страны, далеко не всем знакомые, при интереснейших условиях. Я был свидетелем двух войн. Профессия моя — самая драматическая в мире. Я исколесил весь свет от Новой Гренландии и Шпицбергена до Западной Африки и могу вызвать в памяти немало бурь, опасностей, китов, акул, медведей, змей — словом, всего, что живо интересовало меня, когда я был школьником. И, однако же, все, что я мог бы сказать по поводу всего этого, уже сказано до меня другими, с большим знанием дела и авторитетностью. А вот, когда вы приглядываетесь к внутренней работе своего ума и духа, к причудливым интуициям, странным случайностям, к тому необычайному, что иной раз неожиданно выглянет на поверхность, озадачит и скроется неразъясненным, к невероятным совпадениям, к жизненным столкновениям, которые, казалось, должны бы были кончиться определенным образом, а кончаются совсем иначе или же вовсе не кончаются и тонут в пропасти забвения, оставляя за собой обрывки тайны вместо чистенького, гладкого узла, который так прекрасно умеют развязать в конце опытные романисты, — вот это все, скажу я вам поистине, странней и интересней всякой выдумки.

Самые замечательные переживания человека — те, которые он прочувствовал всего полней и глубже, т. е. именно те, о которых он меньше всего склонен рассказывать. Все действительно серьезные мои переживания, врезавшиеся глубоко в мою душу и оставившие в ней неизгладимый след, таковы, что я никогда бы не решился ни с кем заговорить о них. И, однако ж, как раз в этих интимных и глубоких переживаниях вы ощущаете присутствие, воздействие на вас каких-то странных сил, притяжения и отталкивания, импульсы и указания, неведомо откуда идущие — как мне думается, из глубинного естества жизни. Лично я всегда создавал наличность скрытых сил человеческого духа и непосредственное вмешательство в человеческую жизнь внеш-

них сил, влияющих на наши действия, управляющих нашими поступками. Обыкновенно это влияние неуловимо и определить, в чем именно оно сказалось, трудно, но бывают случаи, когда оно проявляется так резко, что не заметить его невозможно.

Приведу нагляднейший пример. В 1892 году я путешествовал по Швейцарии и мне случилось проезжать через проход Гемми. На вершине его стоит одинокая гостиница и смотрит вниз на густонаселенные долины, раскинувшиеся с обеих сторон; однако же, к самой гостинице зимой совсем нет доступа. Я предположил, что зимой в ней никто не живет, но оказалось, что это не так. Семейство, жившее в ней, запасалось провизией на несколько месяцев и в течение их оставалось совершенно отрезанным от остального мира и людей внизу. Странность их положения невольно приковала мое внимание, и в голове моей уже начинал складываться рассказ, в котором изображалось отчаянное положение кучки людей, совершенно различных и даже враждебных друг другу натур, которые, будучи обречены ежеминутно сталкиваться и не имея, где укрыться друг от друга, неудержимо, силой вещей, влекутся к мрачной трагедии, — в то время как внизу, в долине, весело поблескивают золотые огоньки мирной и счастливой человеческой жизни. Эти мысли упорно роились в моем мозгу, постепенно укладываясь в стройную форму, когда, неведомо зачем и почему, я купил себе на дорогу, на обратный путь во Францию, книжку Мопассана. Это была книга рассказов, совершенно мне незнакомых. Первый из них носил заглавие «Гостиница» и заключал в себе все, что я придумал, полностью весь мой рассказ, сделанный рукой мастера. В рассказе фигурировала та же гостиница, тот же Гемми-Пас, зима, кучка людей с несовместимыми характерами — словом, все, от начала до конца. Только большой собаки, о которой там говорится, у меня в рассказе не было. Остальное было все, как я задумал, и если б не счастливый случай, я, несомненно, написал и напечатал бы его, как свой собственный. Но была ли это случайность? Могло ли это быть случайностью? Мопассан ехал той же дорогой, и живая фантазия его нарисовала



ему возможности, связанные с жизнью нескольких человек в отрезанной от всего мира гостинице. Это весьма возможно. Но то, что я именно в промежуток между обдумыванием рассказа и тем, как написать его, купил именно ту, единственную в мире книгу, которая помешала мне попасть в глупейшее положение, — было ли это совпадением, или же результатом какого-то доброго влияния извне, пожелавшего избавить меня от такой неприятности? Совпадение или указание — не знаю, но это была одна из тех случайностей, которые страннее вымысла.

И, однако ж, я готов признать, что и без всякого внешнего воздействия, если только не видеть в этом проказы какого-нибудь шаловливого и коварного Пука, в жизни случаются необычайнейшие совпадения, которых романист, конечно, никогда бы не осмелился придумать. Взять хоть бы следующий случай.

После того, как я написал в разное время несколько сыщических рассказов, многие простодушные люди начали отождествлять меня с моим героем и в трудных случаях жизни призывать меня на помощь. Нередко меня просили разобраться в каком-нибудь темном, путаном деле, предоставляя мне полную свободу действий и расходов. И, не без самодовольства могу сказать, что из полдюжины дел, за которые я из жалости или любопытства ради взялся, мне всегда удавалось добиться разгадки. Вот как раз в одном из этих случаев я стал жертвой необычайного совпадения. Было совершено преступление. Подозрения мои пали на некую семью, — ну, назовем ее: Уайльдер, — которая, если и не принимала непосредственного участия в преступлении, то, во всяком случае, много знала о нем — так мне казалось.

Мне было известно, что один из членов этой семьи несколько лет тому назад переселился в Калифорнию. Звали его Джоном, и по профессии он был архитектор. Как только я занялся этим делом, из небольшого городка в Калифорнии, который я назову Сент-Энн, я начал получать письма и бумаги, относящиеся к проводимому мной следствию, исписанные на полях самым грубыми ругательствами и не-

пристойнейшими богохульствами. Письма были без подписи, но одно из них со штемпелем города, откуда оно было послано, и адресом отправителя. Я тотчас же написал начальнику полиции этого города, прося его сообщить мне, не живет ли на такой-то улице и в таком-то № дома Джон Уайльдер, архитектор, недавно выселившийся из Англии. Мне ответили: живет. Вы понимаете, конечно, что после этого я уж не сомневался и довел о результатах моего расследования до сведения британской полиции. Поверите ли вы, что через несколько недель мне дали знать, что полиция навела справки и убедилась, что сказанный Джон Уайльдер — не тот, которого я разыскиваю.

Дурацкие же письма с руганью мне посылал известный всему городу маньяк, страдающий религиозным помешательством и живущий в том же доме. Человек этот был рожденный американец и ничего общего с преступлением иметь не мог, но я до сих пор не понимаю, чего ради он мог заинтересоваться этим делом, если только возле него не было англичан, посвятивших его в подробности дела. Как бы то ни было, против официальной бумаги я уж ничего возразить не мог и должен был признать себя жертвой совпадения, к которому в своих рассказах я, разумеется, не осмелился бы прибегнуть.

Самое странное, однако ж, происходит в той сумеречной стране, где встречаются дух и материя. Помню, однажды в Риме мы с женой шли по Пинчио. Жена раньше никогда не бывала здесь и даже не читала описания Пинчио, так как это было в первый день нашего приезда в Рим. Неожиданно она как-то рассеянно выговорила: «Здесь есть памятник Данте». И несколько секунд спустя мы увидели этот памятник, до того скрытый кустами. «Почему ты знала?», — спросил я. Она ответила: «Понятия не имею. Просто знала». До чего просто, и случай-то пустячный, и пусть-ка кто из ученых попробует дать объяснение.

Я лет тридцать изучал оккультные науки, и мне так странно слушать уверенные суждения об этом, по большей части отрицательные, от людей, которые и минуты серьезно не задумывались над этими вещами. Здесь не время и



не место высказывать мои воззрения на это; я только хочу привести два-три факта несколько иного рода, чем обычные «явления», наблюдаемые на сеансах и которые также показались бы невероятными, если б о них рассказать в романе. В одном случае я, по-видимому, соприкоснулся с чем-то действительно необычайным, если только я не был введен в заблуждение обманом с одной стороны и совпадением с другой.

Жил я тогда в деревне и свел знакомство с местным доктором, моим соседом. Доктор был маленького роста, и практика у него была маленькая, но меня заинтересовало, что в доме у него была комната, куда он никому, кроме себя, не позволял входить и где он предавался философскому и мистическому созерцанию. Заметив, что меня интересуют эти темы, д-р Броун, как я назову его, однажды предложил мне присоединиться к тайному обществу изучающих оккультные науки. Разговор между нами вышел такой:

- Что же это может дать мне?
- Со временем это даст вам силу.
- Какую силу?
- Силу, которую профаны называют сверхъестественной. Она вполне естественна, но дается лишь тому, кто глуб-

же проник в тайны природы.

— Но если эта сила добрая, почему же ее надо таить от других?

— Потому что дурной человек легко может злоупотребить ею.

— Но как же вы можете быть уверены, что она не попадет в дурные руки?

— Мы очень тщательно экзаменуем наших посвященных.

— И меня будете экзаменовать?

— Конечно.

— Кто же именно?

— Эти люди живут в Лондоне.

— Значит, я должен буду туда поехать?

— Нет-нет, это будет сделано так, что вы и знать не будете.

— А затем?

— А затем вы приступите к изучению.

— К изучению чего?

— Многое вам придется заучивать наизусть. С этого вы и начнете.

— Но если материал, который я буду заучивать, печатный, почему же не сделать его общим достоянием?

— Он не печатный. Он дается в рукописи. Каждый список пронумерован и дается посвященному под честным словом никому не показывать его. Еще не было случая, чтобы список этот потерялся или попал в руки непосвященных.

— Ладно, — сказал я. — Все это очень интересно. Можете проэкзаменовать меня, или как там это у вас называется.

Несколько времени спустя, — так, через неделю или около того, — я проснулся чуть свет от очень странного ощущения. Это был не кошмар и не сон, так как ощущение продолжалось и в течение дня. Оно не было болезненным, но было совсем особенным и неприятным — что-то вроде зуда во всем теле, как от прохождения электрического тока. Мне сейчас же вспомнился маленький доктор.

Через несколько дней он сам явился ко мне.

— Ну, — молвил он с улыбкой, — вы экзамен выдержали. Теперь решайте сами, и уж окончательно, хотите ли вы продолжать. Потому что это — не такая вещь, которую можно начать и бросить. Это дело серьезное, и надо или не браться за него, или уж предаться ему всей душой.

Я и сам начинал понимать, что это дело серьезное, — настолько серьезное, что для него, пожалуй, и не найдется места в моей битком набитой всякими делами жизни. Я так и сказал ему, и он не обиделся на меня.

— Отлично! — молвил он. — Больше мы не будем говорить об этом, если только сами вы не передумаете.

Но это еще не все. Месяца два спустя, в проливной дождь, ко мне зашел укрыться от дождя маленький доктор и привел с собой другого доктора, имя которого было мне знакомо, как известного исследователя тропических стран. Я велел развести огонь в камине. Пока они обсушивались, у нас завязался разговор. Я не мог не обратить внимания на то, что знаменитый путешественник очень почтительно обращался к маленькому доктору, который к тому же был моложе его годами.

— Он один из посвященных мной, — пояснил мне этот последний. — А знаете, — повернулся он к своему спутнику, — Дойль одно время совсем было решил присоединиться к нам.

Путешественник воззрился на меня с большим интересом и завел речь со своим наставником о чудесах, которые он видел и, как я понял, сам творил. Я слушал их, разинув рот. Это был словно разговор двух сумасшедших. Особенно врезалась мне в память одна фраза:

— Когда вы в первый раз взяли меня с собой, и мы пролетали над тем городом, где я когда-то жил в Центральной Африке, я в первый раз увидел острова посередине озера. Я знал, что там есть острова, но никогда не видел их — они отстоят слишком далеко от берега. Не странно ли, что я впервые увидал их, живя в Англии?

Были и другие сообщения, не менее необычайные. «Заговор с целью одурачить простака», — скажет скептик. Думайте, как хотите, но я убежден, что вранья тут не было. Это

один из тех рассказов с оборванным концом, которых терпеть не могут издатели.

Еще один курьезный опыт, о котором стоит упомянуть. Я вызвался однажды переночевать в доме «с привидениями» в Дорсетшайре. Со мной были еще двое. Мы составляли депутацию от Общества психических исследований, в котором, к слову сказать, я состою со дня его открытия. В доме раздавались иногда необъяснимые докучливые стуки, не дававшие покоя жильцам, которые были связаны контрактом и не могли переехать на другую квартиру. Мы просидели, не ложась, две ночи. Первая прошла спокойно; на вторую мы остались вдвоем с м-ром Подмором, известным ученым: третий наш товарищ уехал. Разумеется, мы приняли все меры предосторожности против обмана, протянули шерстинки через лестницы и т. п.

Ночью поднялся страшный шум и грохот. Как будто кто-то дубасил по столу толстой палкой. Это было отнюдь не похоже на случайный треск половиц или шкафов — нет, это был настоящий, оглушительный шум.

Двери были все настежь, и мы первым делом бросились в кухню, откуда, казалось, шли звуки. Там все было в порядке — наружные двери заперты, окна тоже, шерстинки не тронуты. Подмор унес свечу, сделав вид, что мы оба ушли в гостиную; но на самом деле, я остался в кухне, в надежде, что шум возобновится. Но он не повторился. Чем он был вызван — не знаю. По рассказам жильцов, и те шумы, которые они раньше слышали, были в таком же роде... Несколько лет спустя дом этот сгорел. Было ли тут при чем-нибудь привидение, водившееся в нем, или не было, — знаю только одно, что в саду оказался зарытым скелет ребенка лет десяти. Надо полагать, что ребенок был убит и схоронен безвремененно. А уверяют, будто молодая жиань, оборванная внезапно и насильственно, может и после смерти сохранить запас неизрасходованной силы, проявляющейся самыми странными способами. Но тут мы уже снова попадаем в область фактов, которые страннее вымысла. Неведомое и чудесное обступает нас со всех сторон. Бродит около нас, витает над нами, реет смутными образами, то мрач-



ными, то пронизанными светом, — но всегда напоминая нам, что пределы того, что мы называем материей, ограничены и что мы не должны отворачиваться от духовности, если хотим остаться в соприкосновении с истинными глубинными фактами жизни.

Эдит Несбит

ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ

В Дом Привидений Десмонд попал совершенно случайно. Он шесть лет не был в Англии и когда, взяв отпуск на девять месяцев, приехал взглянуть на родину, никак не мог разыскать старых друзей.

Он взял себе комнату в одном из предместий Лондона, известил о своем приезде всех добрых знакомых, адреса которых сохранились у него в памяти, и стал ждать откликов.

Ему до смерти хотелось поболтать с кем-нибудь по душам, а под рукой никого подходящего не было. От скуки он по целым дням валялся на диване, просматривая объявления, хотя и это было страшно скучно. Неожиданно серые глаза его блеснули радостью; он приподнялся, сел и перечел второй раз следующее объявление:

«ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ. — Владелец приглашает желающих произвести расследование. Всякому представившему известные гарантии будет дана полная возможность проверки. Вильдон Прайор, 237, улица Музея. Лондон».

— Вот это удача! — воскликнул Десмонд. У него был приятель, Вильдон Прайор, лучший голкипер футбольного клуба. Фамилия довольно редкая. Наверное, это тот самый. Во всяком случае, попробовать стоит.

И он послал телеграмму:

«Вильдону Прайору, 237, улица Музея, Лондон. — Не решите ли приехать к вам дня на два и взглянуть на привидение? — Уильям Десмонд».

На другой же день пришел ответ по телеграфу:

«Очень рад — жду нас сегодня. Ехать надо на Криттенден, с Чаринг-Кросского вокзала. Телеграфируйте, каким поездом выезжаете. Вильдон Прайор, Ормхерстский ректорат, Кент».

— Ну вот и отлично, — говорил себе Десмонд, укладывая свои вещи и просматривая расписание поездов. — Я в восторге буду повидать старого приятеля.

Курьезный маленький омнибус, напоминающий каретки, в которых вывозят в море купальщиков, дожидался на

станция Криттенден. Кучер, маленького роста смуглый человек с тупым лицом и какими-то жидкими глазами, осведомился: «Вы к м-ру Прайору, сэръ?» и, получив утвердительный ответ, втиснул его в каретку и запер дверь. Путь был долгий и менее приятный, чем показался бы, если бы экипаж был открытый.

Последняя часть пути шла через лес, затем мимо церкви и кладбища, а затем каретка свернула в ворота, осененные старыми высокими деревьями, и подъехала к белому дому с длинными, без наличников окнами.

«Веселенькое местечко, нечего сказать», — подумал Десмонд, вываливаясь из каретки.

Возница поставил его саквояж на облезлое крыльцо и уехал. Десмонд дернул за ржавую цепь и большой колокольчик затрещавил прямо под его головой.

Никто не шел отворять. Он позвонил еще раз. И опять никто не пришел, но наверху, над портиком, отворилось окно. Приезжий отошел немного, чтобы виднее было.

Из окна выглядывал молодой человек, растрепанный и с мутными глазами. Не Вильдон, — ничего похожего на Вильдона. Он ничего не говорил, но как будто делал знаки, и знаки как будто говорили: «Уходите!»

— Я приехал повидать м-ра Прайора, — сказал Десмонд. Окно моментально неслышно затворилось.

«Куда же это я попал? Уж не в сумасшедший ли дом?» — спрашивал себя Десмонд, снова дергая за ржавую цепь.

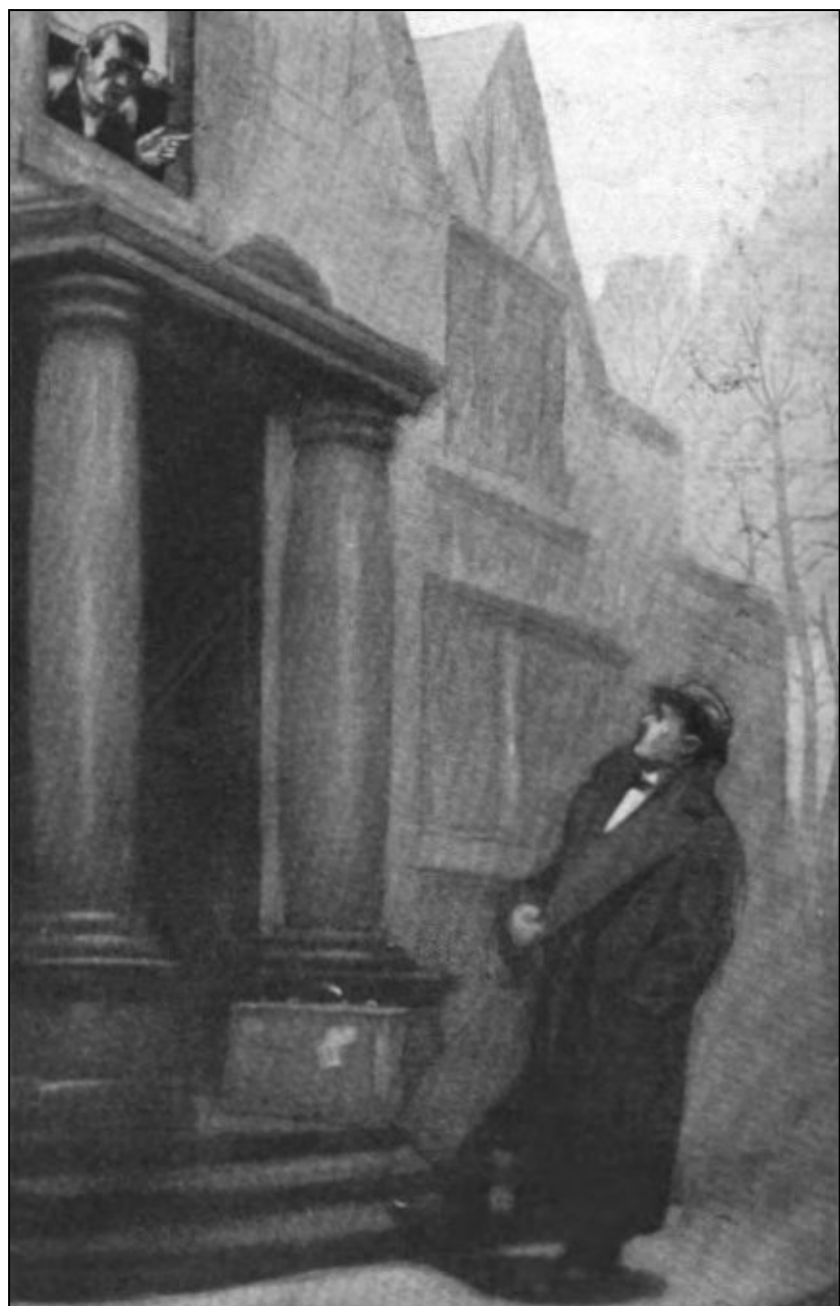
За дверью раздались шаги, стук мужских сапог о каменный пол. Отодвинули засов; дверь отворилась, и гость, уже начинавший сердиться, увидел перед собой пару темных ласковых глаз и очень приятный голос спросил его:

— По всей вероятности, м-р Десмонд? Войдите, пожалуйста, и позвольте мне извиниться за то, что я заставил вас ждать.

Говорящий крепко пожал его руку и повел его за собой по темному коридору в красивую, но довольно-таки запущенную комнату, уставленную полками с книгами.

— Присядьте, пожалуйста, м-р Десмонд.

Хозяин был человек уже в годах, хорошо одетый, кра-



сивый, с интеллигентным лицом, по всему — человек бывалый и светский.

«Это, должно быть, его дядя», — подумал Десмонд, усаживаясь в потертое, но замечательно удобное кресло.

— А как поживает Вильдон? — спросил он вслух. — Надеюсь, здоров?

Хозяин недоуменно посмотрел на него.

— Извините. Как вы сказали?

— Я спрашиваю, как поживает Вильдон.

— Я здоров, благодарю вас, — был учтивый, но суховатый ответ.

Теперь настала очередь Десмонда извиняться.

— Простите, мне не пришло в голову, что ваша фамилия может быть также Вильдон. Я говорил о Вильдоне Прайоре.

— Я и есть Вильдон Прайор. А вы, я полагаю, — эксперт, присланный сюда Обществом психологических исследований?

— Боже мой, ничего подобного! Я просто старый знакомый Вильдона Прайора. Очевидно, их два.

— Но ведь это вы телеграфировали? Это вы — м-р Десмонд? Общество психологических исследований обещало прислать эксперта, и я думал...

— Понимаю. А я думал, что вы — Вильдон Прайор, мой старый друг — молодой человек, — закончил он, приподнимаясь.

— Куда же вы? — остановил его Вильдон Прайор. — Без сомнения, вы говорите о моем племяннике. Он знал, что вы приедете? Да нет. Откуда же он мог знать? Что я такое говорю? Но, конечно, он будет очень счастлив видеть вас. Вы ведь останетесь погостить у нас? Если только не боитесь соскучиться со стариком. А я сегодня же напишу Вилли и попрошу его приехать сюда.

— Это очень любезно с вашей стороны. Я с удовольствием останусь. Я так обрадовался, когда прочел в газете фамилию Вильдона, потому что...

И он рассказал о своем приезде в Англию, о своем одиночестве и разочарованиях.

М-р Прайор слушал с интересом и сочувствием.

— Так вы и не разыскали ваших друзей? Как это грустно. Но они, наверное, просто еще не успели ответить. Вы, конечно, оставили свой адрес?

— Нет, представьте себе, забыл оставить. Но я сообщу хозяйке. Что, письмо сегодня еще может попасть на почту?

— Конечно! — успокоил его хозяин. — Напишите сейчас же. Мой человек снесет письма на почту, а затем мы пообедаем, и я вам расскажу о привидении.

Десмонд наскоро набросал несколько писем. Не успел он кончить, как вошел м-р Прайор и забрал его письма.

— Ну-с, а теперь пойдемте, я покажу вам вашу комнату — вы, наверное, не прочь отдохнуть с дороги. Обед у нас в восемь.

Спальня, отведенная гостю, как и гостиная, была меблирована старой, но дорогой и удобной мебелью.

— Надеюсь, вам будет хорошо здесь, — ласково сказал хозяин. И Десмонд нимало не сомневался, что ему здесь будет хорошо.

* * *

Стол был накрыт на три прибора; прислуживал тот же темнолицый человек, который вез со станции Десмонда. Он стоял за стулом своего хозяина. Когда гость и хозяин сели, из мрака, в который была погружена комната за пределами желтых световых кругов, отбрасываемых свечами в серебряных подсвечниках, вышел третий — тот самый человек, который давеча делал Десмонду знаки в окно.

— Мой ассистент, м-р Верней, — отрекомендовал хозяин, и Десмонд чуть не отдернул руку, так неприятно было ему липкое, влажное прикосновение руки «ассистента». Но почему же «ассистент?» Может быть, м-р Прайор доктор, который берет к себе па пансион «платных гостей», у которых «не все дома»? Но ведь он сказал «ассистент»....

— Я думал, — заметил Десмонд, — что вы священник. Понимаете, в телеграмме вашей сказано: ректорат. Я думал,

что мой приятель Вильдон гостит у дяди-ректора.

— О, нет. Ректорат сдан внаймы. Ректор находит, что там сыро. Да и в церкви не служат. Она очень ветхая, боятся катастрофы, а на ремонт нет денег. Лопец, дайте кларета м-ру Десмонду.

И смуглый камердинер с тупым неподвижным лицом налил гостю вина.

— А я нахожу это местечко очень удобным для моих исследований, — продолжал м-р Вильдон. — Я, видите ли, немного занимаюсь химией, м-р Десмонд, и Верней помогает мне.

Верней пробормотал что-то о том, что он горд возможностью быть полезным такому человеку и умолк, не договорив.

— У каждого из нас есть свой конек; у меня вот — химия. К счастью, у меня есть небольшие средства, позволяющие мне жить, как мне нравится! Племянник — тот подтрунивает надо мной, но, смею вас уверить, это очень увлекательно.

После обеда Верней исчез, а гость и хозяин уселись перед камином «использовать горсточку тепла», как выразился м-р Вильдон, так как вечер был прохладный.

— А теперь, — сказал Десмонд, — расскажите мне о привидении.

Вильдон оглянулся.

— В сущности, это не настоящее привидение. Это только... со мной лично ничего подобного не было, но с Вернеем было — бедняга страшно напугался и с тех пор все никак не может прийти в себя.

Десмонд поздравил себя со своей проницательностью.

— И привидение появляется в той комнате, куда вы меня поселили?

— Комната, да, собственно, и личность тут ни при чем.

— Значит, увидеть его может каждый?

— Видеть его никто не видел. Это привидение не из тех, которых можно видеть и слышать.

— Должно быть, я глуп, но я не понимаю. Какое же это привидение, если его не видно и не слышно?

— Я же и не говорю, что это привидение. Я только говорю, что в этом доме не все ладно. Из-за этого я потерял уже нескольких ассистентов — это действовало на нервы.

— И что же с ними случилось, с ассистентами? — поинтересовался Десмонд.

— Не знаю; уехали. Я потерял их из виду, — был уклончивый ответ. — Нельзя же было требовать, чтобы они жертвовали мне своим здоровьем. Мне иной раз кажется — ах, эти деревенские сплетни — это убийственная вещь, м-р Десмонд! — мне иной раз кажется, что они уже заранее были так настроены, чтобы испугаться — заработало воображение, ну и начала мерещиться всякая чертовщина. Надеюсь, Психологическое общество пришлет сюда неврастеника. Хотя, даже и не будучи неврастеником, можно... впрочем, вы, м-р Десмонд, как трезвый англосакс, не верите ведь в привидения?

— Я не могу назвать себя истым англосаксом, — возразил Десмонд. — С отцовской стороны я чистой кельтской крови, хоть и знаю, что тип у меня не кельтический.

— А с материнской стороны? — с необычайной живостью спросил м-р Прайор, неожиданно проявив такой горячий интерес к теме, которая, казалось бы, не должна была интересовать его, что Десмонд удивился, и ему стало даже немножко неприятно. В первый раз милый ласковый хозяин не понравился ему.

— О, — пошутил он, — я думаю, что в моих жилах есть капля китайской крови — среди китайцев в Шанхае я чувствовал себя, как дома, а они уверяли меня, будто свой нос я получил от прабабушки-индианки.

— Но негритянской крови в ваших жилах, конечно, нет? — допытывался Вильдон с настойчивостью, почти неучтивой по отношению к гостю.

— Я и в этом не уверен, — был ответ. Десмонд хотел пошутить, но шутка как-то не вышла. — Мои волосы, вы видите, — они слишком курчавые для европейца, а предки моей матери столько поколений жили в Вест-Индии... Вы, по-видимому, интересуетесь расовыми различиями?

— Нет-нет, ничуть, — был неожиданный ответ, — но, разумеется, меня живо интересуют все детали вашей семейной истории. Я чувствую, — прибавил он с очаровательной улыбкой, — что мы с вами уже друзья.

Десмонд сам не сумел бы объяснить, почему ему стало меньше нравиться этот милый человек, который вначале показался ему таким привлекательным и у которого он с радостью остался погостить.

— Вы очень добры, — сказал он. — Это так мило с вашей стороны, принять участие в совершенно постороннем человеке.

М-р Прайор улыбнулся, вынул портсигар, смешал виски с содой и завел речь о доме.

— Он построен, несомненно, в тринадцатом столетии. Прежде это было аббатство. Между прочим, курьезную историю рассказывают о человеке, которому Генрих подарил его, когда уничтожал монастыри. На нем лежало проклятие... Впрочем, в основе всякой истории о привидении лежит проклятие...

Приятный, мягкий аристократический голос журчал, как ручеек. Десмонду казалось, что он слушает, но на самом деле он отвлекся и лишь усилием воли заставил себя осмыслить только что прозвучавшие слова:

— ...и это была уже пятая по счету смерть... Каждые сто лет одна, и всякий раз такая же загадочная.

Затем он поднялся, чувствуя, что его страшно клонит ко сну, и услышал, точно со стороны, свой голос, говоривший:

— Эти старые сказки страшно интересны. Благодарю вас, очень. Надеюсь, вы не сочтете меня очень неучтивым, но я лучше пойду к себе, — я почему-то страшно устал.

— Конечно, конечно, дорогой мой.

М-р Прайор проводил Десмонда в его комнату.

— Все ли у вас есть, что вам нужно? Все? Отлично. Если начнете нервничать, закройте дверь на ключ. Разумеется, привидение пройдет и сквозь замок, по мне почему-то всегда казалось, что с замком надежнее.

И он опять засмеялся своим приятным ласковым смехом.

Уильям Десмонд лег в постель сильным, здоровым молодым человеком, правда, одолеваемым, как никогда, дремотой, но все же вполне здоровым. А проснулся слабым и дрожащим, настолько слабым, что от каждого движения его бросало в пот. Где он? Что случилось? Голова кружилась, мозг отказывался дать ответ. Он стал припоминать — и снова на него нахлынула та же антипатия к любезному хозяину, но на этот раз такая сильная, что его даже в жар бросило. Его опоили, отравили.

— Надо убираться подобра-поздорову, — сказал он себе и сел в постели, чтобы дотянуться до звонка, висевшего возле дверей, как он заприметил еще с вечера.

Но, как только он дернул за звонок, кровать и шкаф, и комната, — все поплыло перед его глазами, и он лишился чувств.

Когда он пришел в сознание, кто-то подносил к его губам рюмку с коньяком. Перед ним стоял Прайор с искренним огорчением в лице. И рядом ассистент, бледный, с мутными, водянистыми глазами. А подальше темнолицый слуга, безмолвный, все с тем же тупым, недвижным лицом. Десмонд слышал, как Верней сказал Прайору:

— Вы видите, — я говорил вам, что это слишком много...

— Тсс, — цыкнул тот. — Он приходит в себя.

* * *

Четыре дня спустя Десмонд, лежа в плетеном кресле на лужайке, чувствовал себя еще слабым и несклонным к физическому напряжению, но уже не больным. Питательная диета, мясной бульон, подкрепляющие и тщательный уход — все это снова привело его приблизительно в нормальное состояние.

Свои смутные подозрения в ту, первую, ночь он помнил смутно и смутно удивлялся, откуда у него они взялись — они были так явно нелепы — его окружали здесь таким вниманием, такой заботой...

— Но что же со мной было? Отчего? — в десятый раз допытывался он у своего хозяина. — Чего ради я свалил такого дурака?

И на этот раз м-р Прайор не оставил его вопроса без ответа, как это было раньше.

— Боюсь, что привидение-таки действительно навестило вас. Я склонен изменить свой взгляд на него.

— Но почему же оно больше уж не приходило?

— Я ведь все эти ночи спал в вашей комнате, — был ответ. И действительно, больного уже не оставляли одного с тех пор, как он своим звонком поднял на ноги чуть свет всех живущих с доме.

— А теперь, — продолжал м-р Прайор, — не считите меня негостеприимным хозяином, но я бы посоветовал вам поскорее уезжать. Вам будет полезен морской воздух.

— Скажите, вы никаких писем для меня не получали?

— Ни единого. Правильный ли вы дали адрес? Ормхерстский ректорат, Криттенден, Кент.

— Не знаю, написал ли я «Криттенден». Адрес я списал с вашей телеграммы, — он вынул из кармана розовый листок.

— Нет, адрес верный: можно и так писать, — подтвердил хозяин.

— Вы были страшно добры ко мне... — начал Десмонд.

— Пустяки, голубчик. Я только жалею, что племянник мой не мог приехать. И даже не написал. Вот ветрогон. Только телеграфировал, что приехать не может, подробности письмом.

— Должно быть, завертелся где-нибудь, — с завистью вздохнул Десмонд. — Но послушайте — расскажите же мне о привидении, если только тут есть, что рассказывать. Теперь я почти здоров, и — надо же мне знать, что именно меня так напугало.

— Пожалуй. — М-р Прайор смотрел не на него, а на куртину далий и златоцвета, такого яркого под лучами осеннего солнца. — Теперь, пожалуй, это уж не повредит вам. Помните вы рассказ о человеке, которому Генрих VIII подарил эту усадьбу, и о проклятии, тяготевшем на нем? Жена этого человека похоронена в склепе под церковью. Ну,

тут про нее ходят разные легенды и, признаюсь, мне любопытно было взглянуть на ее могилу. В склеп ведут железные ворота, запертые, разумеется. Я отпер их старым ключом — а запереть опять уже не мог.

— Почему?

— Вы думаете, что мне следовало бы послать за слесарем? Да, конечно; но дело в том, что в церкви есть небольшой тайничок, и я пользовался этим тайничком, как дополнительной лабораторией. Если б я позвал слесаря, он заметил бы — пошли бы толки — и меня выставили бы из моей лаборатория — может быть, и из усадьбы...

— Я понимаю.

— Теперь, самое курьезное, — Прайор понизил голос, — что так называемые «привидения» стали появляться в этом доме только после того, как я отворил ворота. Тут и начались всякие фокусы.

— Какие фокусы?

— А такие, что люди приезжали сюда и внезапно заболели — вот как вы же. И всякий раз это, по-видимому, сопровождалось потерей крови. И, — он явно колебался, — вот эта ранка у вас на шее. Я вам сказал, что вы ушиблись при падении, когда потянули за шнурок звонка. Но это была неправда. На самом деле, у вас на шее совсем такая же маленькая ранка с побелевшими краями, какие были у других. Хотел бы я, — он сдвинул брови, — хотел бы я снова как-нибудь запереть эти ворота. А ключ не поворачивается в замке.

— Может быть, я смогу вам помочь, — сказал Десмонд, убежденный в душе, что он действительно повредил себе шею при падении, а хозяин рассказывает ему «басни». Но отчего же не исправить замок? Все-таки это будет хоть маленькое выражение признательности за всю ту любезность, которая была ему оказана. — Я ведь инженер, — прибавил он застенчиво и встал. — Может быть, достаточно просто смазать. Давайте, пойдем посмотрим.

Вслед за м-ром Прайором он прошел через весь дом в церковь. Блестящий, хоть и старый ключ легко повернулся в замке, и они очутились в церкви, сырой и пахнущей зат-

хлостью; вокруг разбитых окон вился плющ, в отверстия крыши виднелись синие просветы неба. Снова щелкнул ключ; м-р Прайор зажег свечу; распахнулась тяжелая дубовая дверь, и они стали спускаться по узкой крутой лестнице со стертymi ступенями, мягкими от пыли. Склеп был старинный, выстроенный еще при норманнах. В конце его была глубокая ниша, закрытая заржавленной железной решеткой.

— В старину думали, — пояснил м-р Прайор, — что железной решеткой можно удержать нечистую силу. А теперь вот замок не действует.

Он поднес свечу к двери, отворенной настежь.

Они вошли внутрь, так как замок был с другой стороны. Десмонд принес с собой перышко и масло и, повозившись минуты две, легко повернул ключ в обе стороны.

— Я знал, что исправить его не будет трудно, — сказал он, опускаясь на одно колено и разглядывая устройство замка.

— Можно взглянуть?

М-р Прайор занял место Десмонда, повернул ключ, вынул его и поднялся. Миг — и свеча вместе с подсвечником покатались со звоном на каменный пол, а старик кинулся на Десмонда.

— Ага! Теперь ты в моих руках! — рявкнул он не своим голосом, словно дикий зверь, наседа на него и вцепившись ему в горло своими сильными длинными пальцами.

Только что оправившемуся от болезни молодому человеку не под силу было бороться с этой чисто звериной цепкостью. Старик стиснул его, словно в железных тисках. Откуда-то у него появилась веревка, которой он скрутил руки Десмонду.

Десмонду омерзительно вспомнить, что в первую минуту он завизжал, как пойманный заяц. Но потом вспомнил, что он мужчина и закричал:

— Помогите! Сюда! Помогите!

Но ему мгновенно зажали рот и завязали его платком. Он лежал теперь на полу, прислонившись к чему-то головой. Прайор стоял над ним и говорил:



— Ну вот! — По голосу чувствовалось, что он задышался, а спичка, зажженная им, озарила каменные полки и на них какие-то длинные футляры — должно быть, гробы. Ну вот и готово. Мне жаль, что пришлось прибегнуть к таким мерам, но наука выше дружбы, дорогой мой. Я вам сейчас все объясню, и вы увидите, что, как честный человек, я не мог поступить иначе. Особенно удобно для меня, конечно, что у вас нет друзей, которые бы знали, где вы. Я понял это с самого начала. Сейчас я все объясню. Я не надеюсь, что вы меня поймете. Но — все равно. Скажу без хвастовства, после Ньютона величайшее открытие — мое. Я открыл способ изменять природу человека. Я могу сделать из человека все, что мне вздумается. При помощи переливания крови. Лопец — вы видели? мой человек, Лопец — я влил в его жилы кровь собаки, и он — мой раб, предан мне, как собака. Верней тоже мой раб, частью благодаря собачьей крови, частью благодаря крови тех, кто приезжал сюда взглянуть на привидение, но есть в его жилах и несколько капель моей собственной крови, так как я хотел, чтобы он был умен и мог мне помогать! Но это еще не самое главное. Вы поймете меня, если я скажу вам...

Тут он начал распространяться о технических подробностях, употребляя много терминов, совершенно непонятных Десмонду, который думал только о том, как мало у него шансов убежать.

Умереть здесь, как крыса, попавшаяся в мышеловку! Если б хоть сорвать платок и крикнуть: «Помогите!»

— Слушайте же, когда вам говорят! — сердито крикнул Прайор и ударил его по спине. — Простите, голубчик, — тотчас же вкрадчиво прибавил он, — но это очень важно. Итак, вы видите, что жизненный эликсир — есть кровь. Кровь — это жизнь, и мое великое открытие состоит в том, что жизнь можно продлить до бесконечности и вернуть человеку молодость, — для этого нужно только взять кровь человека, соединяющего в себе помесь четырех великих рас — белой, черной, красной и желтой. Ваша кровь соединяет в себе все требуемые условия. Я в первую же ночь взял у вас ее, сколько мог. Вампир, видите ли, это был я, — он засмеялся. —

Но ваша кровь не подействовала. Сонные капли, которые я вынужден был вам дать, по всей вероятности, убили в ней зародыши жизни. Да и мало было взято. Ну, теперь возьмем достаточно.

Десмонд все время терся головой о твердый предмет, находившийся позади его, и ослабил, наконец, узел платка настолько, что он соскользнул с головы на шею. Высвободив рот, он поспешил возразить:

— Это неправда, что я говорил про китайцев и про все. Моя мать родом из Девоншира.

— Я не порицаю вас, — спокойно молвил Прайор. — И я бы лгал на вашем месте.

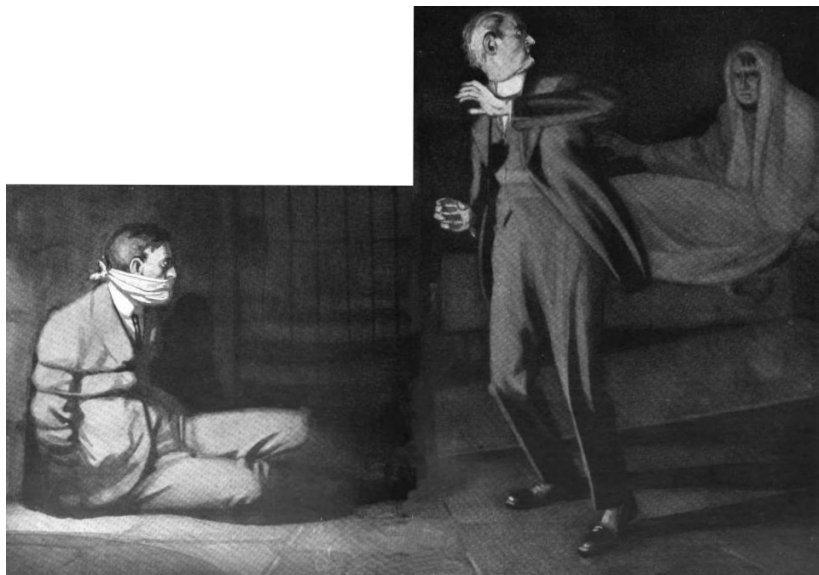
И он снова завязал пленнику рот. Свеча, снова зажженная и поставленная на каменный гроб, горела ярко, и при свете ее Десмонд видел, что длинные предметы на полках, действительно, были гробы, и не все каменные. Он спрашивал себя, что сделает этот сумасшедший с его телом, когда все будет кончено. Ранка на шее снова раскрылась. Он чувствовал, как кровь теплой струйкой течет по его шее. Чего доброго, опять лишится чувств Похоже на то. Ах, если б удержаться!

— Жалко, что я не привел вас сюда в первый же день, — это Верней настоял, чтобы я сперва попробовал маленькими порциями. Совершенно напрасно — чистейшая потеря времени.

Прайор смотрел, чувствуя, что слабеет с каждым мигом — смотрел и не верил своим глазам — и не знал, не галлюцинация ли это с ним от слабости. Положение его и без того было ужасное, а тут еще кошмары.. Крышка одного из гробов приподнялась и оттуда вылезало что-то белое, длинное, тонкое... Вот оно уже стоит рядом с гробом...

Как во сне, Десмонд хотел крикнуть — и не мог. Если б хоть пошевелиться — может быть, кошмар рассеялся бы... Но, прежде чем он успел собраться с духом, то — белое, страшное — кинулось на Прайора и вместе с ним покатилося на пол в упорной, безмолвной борьбе. Последнее, что слышал Десмонд перед тем, как потерять сознание, был отчаянный крик Прайора, который обернулся и увидел насевшую на

него фигуру в саване...



— Не волнуйтесь. Все благополучно, — услышал он, придя в себя. Над ним стоял, нагнувшись, Верней с бутылкой коньяка в руках. — Больше вам ничто не угрожает. *Он* связан и заперт в лаборатории. Не бойтесь, — прибавил он, заметив направление взгляда Десмонда, пугливо уставившегося на гробы. — И тут ничего страшного нет, это был я. Иного способа спасти вас я не мог придумать. Ну что? Теперь оправились вы? Можете идти? Обопритесь на меня. Вот так. Я отворил решетку. Идемте.

* * *

Десмонд жмурил глаза, глядя на солнце, которое он уже не надеялся больше видеть. Он снова сидел в своем плетеном кресле. Невольно он взглянул на песочные часы. Вся

эта история заняла не больше пятидесяти минут.

— Объясните мне, — взмолился он.

И Верней вкратце рассказал ему.

— Я пытался вас предостеречь — вы помните — из окна. Вначале я сам верил в *его* эксперименты — притом же, *он* кое-что знал обо мне — и молчал. Это случилось, когда еще я был очень молод. Богу известно, я искупил это сторицей. Когда вы приехали, я только-только успел дознаться, что произошло с теми, другими... Это животное, Лопец, проболтался спяну. Вот еще скотина! В первую же ночь у нас вышла с ссора Прайором, и он мне обещал не трогать вас. И не исполнил обещания.

— Почему вы мне не сказали?

— Как же я мог вам сказать, когда вы были едва живы? *Он* обещал мне усладить вас, как только вы оправитесь. И все-таки *он* был добр ко мне... Но, когда я услышал ваш разговор с ним про ворота и решетку, я понял, чем это пахнет — завернулся в саван и...

— Но почему вы не вышли раньше?

— Не смел. *Он* без труда одолел бы меня, если б знал, кто на него напал. *Он* сильный. Притом же, он все время был в движении — надо было выбрать удобный момент. Я на то и рассчитывал, что *он* струсит, когда увидит, что на него насел мертвец, вышедший из гроба. Ну, а теперь пойду запрягать. Надо отвезти вас в Криттенден и сдать полиции. Пусть пришлют за ним и засадят его в сумасшедший дом. Все ведь отлично знают, что он сумасшедший, но ведь надо было дождаться, пока он чуть не убил человека, чтобы иметь право засадить его. Таков закон.

— Но как же вы? — разве полиция?!..

— Теперь мне нечего бояться. Никто не знал про это, кроме старика, а он теперь если и начнет болтать, кто же ему поверит? Нет, ваших писем он, разумеется, не отправлял, и не писал вашему другу, а эксперта от Психологического общества отправил обратно. Не могу найти Лопца — он, должно быть, пронюхал недоброе и заперся у себя.

Его нашли у запертой решетки склепа, когда полдюжины полицейских пришли за его господином. Хозяин был

так же нем, как и слуга. На вопросы он не отвечал. Никаких показаний от него не добились. Больше от него никто не слышал ни слова.

П. Контамин-Латур

**ПОСЛЕДНИЙ ОПЫТ
ПРОФЕССОРА ФАБРА**

Когда профессор Фабр убедился, что его молодая жена Грациэлла действительно умерла, он спокойно, уверенно обратился к своим ассистентам, которые за время болезни покойницы не покидали его:

— Вы были свидетелями того, что я сделал все возможное, все, что в человеческих силах, чтобы спасти ее... Теперь я хочу использовать последнюю попытку; если мой опыт удастся — мир будет обновлен. Если я потерплю фиаско — обвиняйте меня, но только — в самонадеянности. Забудьте на время меня, избегайте меня. Но ровно через год войдите в эту комнату, и пусть ничто не остановит вас на дороге...

Они вышли. Доктор остался один с покойницей в полутемной, окутанной сумерками комнате.

* * *

В 37 лет профессор Фабр достиг славы благодаря своим смелым открытиям и блестящим завоеваниям в медицине; он первый открыл никому неведомые горизонты. Он не признавал смерти — он считал ее переходной ступенью перед новыми эволюциями материй. Он посвятил всю свою деятельность изучению жизненных материй, мечтал покорить их науке.

Он достиг того, что уже овладел всеми фибрами и атомами человека, все органы ему повиновались — он оживлял их, заменял другими и безошибочно вылечивал людей. Он совершал чудеснейшие операции и делал прививки, которые казались безумными, столь неожиданны и фантастичны были они.

В народе поговаривали — не колдун ли он. А наука его, — наука, стяжавшая ему блестящую славу, — оказалась бесильной спасти хрупкое тело Грациэллы.

* * *

Никто не видел, как вынесли гроб с телом Грациэллы из дома профессора, но люди уверяли, что видели, как мрачные факельщики приносили что-то мягкое под саваном к Фабру... Юлиус Фабр никуда не выходил, он оставил кафедр и покинул своих больных, он отошел от света. Дни и ночи он проводил в своей уединенной лаборатории, наполненной всевозможными колбами и склянками с таинственными составами; странные машины свистели и стучали, а он работал над неподвижными телами, вооружившись бистуреем и скальпелем.

А в углу на мраморной доске лежала Грациэлла. Уже прошло два месяца со дня ее смерти; он не оставлял ее ни на одну минуту, Благодаря всяким средствам, он предупредил разложение и сохранил ее нетронутой, а при помощи электрических токов он возобновил кровообращение, биение сердца и деятельность пульса.

Он вынул остатки ее легких, сраженных туберкулезом, он кропотливо очистил их и потом привил к ним другие легкие, здоровые и сильные, которые он взял у женщины, умершей от разрыва сердца, и влил в них свою кровь. Как средневековый алхимик, он трепетно склонился над своим загадочным творением и ждал, окрыленный надеждой, вдохновленный безумной и дерзкой мечтой, ждал, когда она осуществится...

И вот, он почувствовал едва ощущаемую теплоту тела и увидел слегка розовеющую кожу... он уже чувствовал дыхание оживающего тела...

Он чувствовал, как возрождается он сам: он стал говорит сам с собой; не было никаких сомнений: опыт его удался, он завершил свои исследования; перед ним происходило как бы создание новой жизни, творение нового тела.

Неужели же он забыл о душе?

* * *

Профессор Фабр достал из кармана записную книжку и открыл страницу, куда он вписал свою последнюю лекцию, которую еще никто не слышал, потому что в день, предназначенный для чтения — умерла Грациэлла.

Она гласила следующее;

«Что такое жизнь, милостивые государи? Это внешнее и материальное воплощение движений и способностей души. Что же такое душа? Мир состоит из невесомого флюида, который проникает во все тела; благодаря ему передаются колебания тепла и света и он служит посредником между духом и материей. Этот флюид, эта сила всеобъемлющая есть ум космогонической науки, которую древние считали невидимой властительницей всей природы. Это свет астральный.

И наши души не что иное, как частица этой силы, владеющей каждым из нас.

Такова душа. Она покидает тело, когда оно неспособно ее удержать, но возвратите ему эту способность — тогда вернется и душа...»

Доктор Фабр закрыл тетрадь.

* * *

— Вернись, Грациэлла, заклинаю тебя, вернись!

Он повторял свое приказание сурово, напрягая всю волю, голос его как бы стремился проникнуть и передать всю силу его лежавшему перед ним телу.

Прошло уж несколько месяцев с того дня, как Грациэлла сомкнула свои прекрасные глаза.

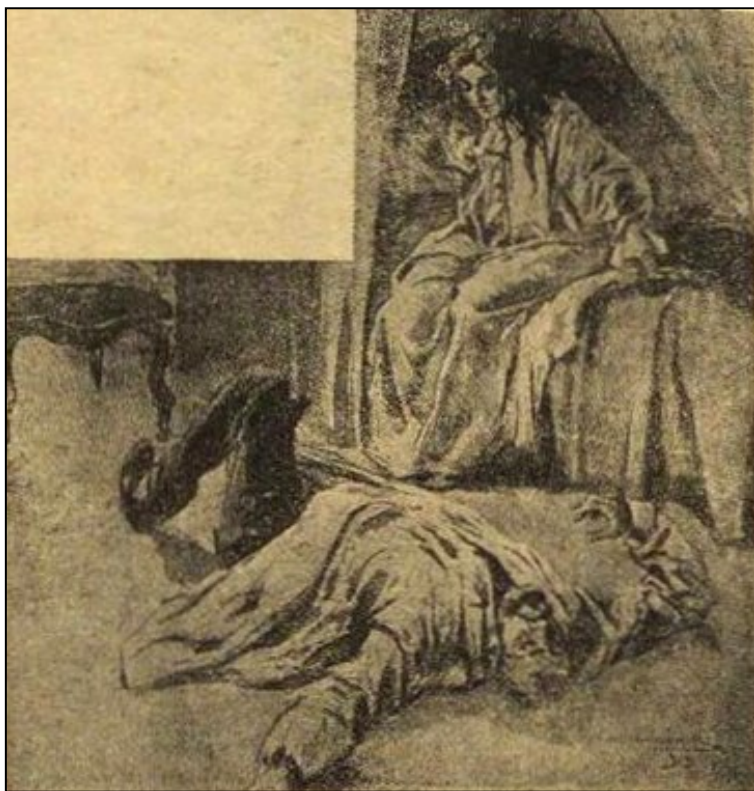
Профессор с ужасом видел, что приближается день назначенного срока. Что-то найдут его ассистенты в этой комнате? Разрешенную задачу мира или же безумную попытку поколебать закон природы?

Но прочь мысли, они только отвлекают...

Он наклонился над Грациэллой и пронизывал ее своим взглядом, обжигал ее своим дыханием и прикосновением

уст. И неустанно повторял:

— Грациэлла, ты должна вернуться ко мне. Проснись, ты должна проснуться!



Его руки пробегали по ее телу и он чувствовал, ощущал с болезненной ясностью, как от кончиков его пальцев отделялась какая-то невесомая сила, — переходила к ней. Проникала в ее тело и насыщала его.

Он понимал, почти ощущал, что это холодное тело согревается его испарением и что неподвижное вещество смягчается напряжением его воли.

Он перестал давно спать, есть и пить. Он перестал быть самим собой и обратился в какое-то орудие непрерывной

деятельности. Ему чудились, быть может, слышались странные, таинственные звуки, какой-то треск, какие-то перемещения и сотрясения, наполнявшие воздух...

Казалось, что телом Грациэллы овладели высшие, невидимые духи. И сквозь хаос этот до него доносились тихие переходы одного электрического тока к другому. И они передавались ему.

— Грациэлла, еще раз умоляю — проснись!..

Тело его напряглось, он делал последние усилия воли, нервов, мозг его заливался кровью. Он чувствовал, как существо его отделялось от земли, он судорожно хватался руками, словно цеплялся за что-то в пространстве, и вдруг он торжествующим, каким-то нечеловеческим голосом вскрикнул:

— Грациэлла проснулась!

Его расширенные зрачки потухли разом; в изнеможении он упал.

* * *

Когда оба ассистента профессора Фабра вошли в комнату, они увидели вытянутого во весь рост на ковре своего учителя, — он был мертв...

На кровати сидела испуганная женщина и стонала:

— Я вернулась, я уже не сплю... Почему же ты молчишь, Юлиус?..

Том Гуд

ТЕНЬ ПРИЗРАКА

С тех пор, как я обзавелся собственным хозяйством, сестра моя Летти жила со мной. Она у меня хозяйничала до моей женитьбы. Теперь она неразлучна с моей женой, и дети мои обращаются к своей милой тете за советом, утешением и помощью во всех своих маленьких невзгодах и затруднениях. И однако же, несмотря на то, что она окружена любовью и удобствами жизни, — с лица ее не сходит грустное, сосредоточенное выражение, которое приводит в недоумение знакомых и огорчает родных. Что же этому за причина? несчастная любовь? Да — все та же старая история. Сестре не раз представлялись выгодные партии, но, лишившись предмета своей первой любви, она уже никогда не позволяла себе мечтать о том, чтобы любить и быть любимой.

Джордж Мэзон приходился жене моей двоюродным братом; он был моряк. Они с Летти встретились на нашей свадьбе и влюбились с первого взгляда. Отец Джорджа тоже был моряком и особенно отличался в арктических морях, где он участвовал в нескольких экспедициях, предпринятых для отыскания Северного полюса и Северо-западного прохода. Я, поэтому, не удивился, когда Джордж по собственной охоте вызвался служить на «Пионере», который снаряжался на поиски за Франклином и его потерянными товарищами. Будь я на его месте, едва ли бы я устоял против обаяния подобного предприятия. Летти это, разумеется, не нравилось; но он успокоил ее уверением, что моряков, добровольно просившихся в арктическую экспедицию, никогда не теряют из вида, и что он таким образом в два года уйдет дальше в своей карьере, чем ушел бы в двенадцать лет простой службы. Не могу сказать, чтобы сестра и тут искренне помирилась с его решением, но она перестала спорить; только облако, теперь не покидающее ее лица, но редко являвшееся в ее счастливой молодости, иногда стало пробегать по чертам ее, когда она думала, что никто ее не видит.

Младший брат мой, Гарри, в то время учился в академии художеств. Теперь он составил себе некоторую известность, но тогда еще только начинал и, как все начинаю-

щие, задавался всякими фантазиями и теориями. Одно время он бредил венецианской школой, а у Джорджа была красивая голова итальянского типа — он и написал с него портрет. Портрет вышел похож, но как художественное произведение — весьма посредствен. Фон был слишком темен, а морской мундир слишком ярок, так что лицо чересчур уж рельефно выделялось белизной. Поворот был в три четверти, но вышла одна только рука, опиравшаяся на рукоять кортика. Вообще, как Джордж сам говорил, он на этом портрете скорее походил на командира венецианской галеры, чем на современного лейтенанта. Летти, впрочем, осталась вполне довольна — о художественности она очень мало заботилась, лишь бы сходство было. Итак, портрет с подобающим уважением был вставлен в раму — ужасно массивную, заказанную самим Гарри — и повешен в столовой.

Приближалось время разлуки. «Пионер» только ждал последних инструкций. Офицеры перезнакомились между собою. Джордж очень сошелся с лекарем Винсентом Гривом, и, с моего разрешения, раза два привозил его к нам обедать. Правду сказать, он мне с первого взгляда не особенно понравился, и я почти пожалел, что пригласил его. Это был высокий, бледный молодой человек, блондин, с довольно грубыми, резкими чертами шотландского типа, с холодными серыми глазами. В выражении лица его тоже было что-то неприятное — не то жестокое, не то хитрое, а вернее, и то и другое вместе. Мне, между прочим, показалось весьма неделикатно с его стороны, что он не отходил от Летти, во всем предупреждал Джорджа, — одним словом, явившись в дом в качестве приятеля ее жениха, просто открыто ухаживал за ней. Джорджу это, кажется, тоже не нравилось, но он приписывал эту бестактность незнанию светских приличий — и молчал. Летти была крайне недовольна: ей хотелось перед разлукой как можно больше быть с Джорджем; но, чтобы его не огорчать, она терпела и тоже молчала.

Самому Гриву, очевидно, и в голову не приходило, что он вел себя не так, как следует. Он был вполне весел и счастлив. Только портрет почему-то тяготил его. Когда Грив в первый раз увидел его, то слегка вскрикнул, а когда его за

обедом посадили прямо напротив портрета, он замялся, с явной неохотой сел, но тотчас опять встал.

— Я не могу сидеть напротив этого портрета, — пробормотал он, — я сам знаю, что это ребячество, но не могу. Это один из тех портретов, глаза которых точно следят за вами, куда ни повернитесь, а я от матери унаследовал отвращение к подобным портретам. Она вышла замуж против воли отца и, когда я родился, была при смерти больна. Когда она настолько поправилась, что могла говорить связно, без бреда, — она умоляла всех убрать висевший в ее комнате портрет моего деда, уверяя, что он грозно смотрит на нее, хмурится и шевелит губами. Суеверие ли это, или темперамент, только я не терплю подобных портретов.

Джордж, кажется, счел эту выходку своего приятеля за хитрость, чтобы получить место рядом с Летти, но я видел испуганное выражение его лица и не мог не поверить его словам. Прощаясь с ними вечером, я вполголоса, больше в шутку, спросил Джорджа, приведет ли он опять к нам своего нового друга. Он весьма энергично ответил, что нет, потому что Грив очень мил в мужской компании, но в дамском обществе не умеет себя держать.

Но зло было уже сделано. Винсент воспользовался тем, что был представлен нам, — и стал приходить чуть не каждый день, чаще даже Джорджа, которому, по долгу службы, приходилось проводить большую часть времени на корабле, тогда как Грив, закупив и уложив все нужные аптечные снадобья, был совершенно свободен. В последний его визит, накануне выхода в море «Пионера», Летти прибежала ко мне сильно расстроенная: он имел нахальство объяснить ей в любви! Он сказал, что знает о ее помолвке с Джорджем, но что это не мешает влюбиться в нее и другому, что от любви так же точно нельзя уберечься, как от лихорадки. Летти строго, с высоты своего величия осаждала его, но он объявил, что, по своему мнению, не делает ничего предосудительного, высказывая ей свою любовь, хотя и безнадёжную.

— Мало ли что может случиться, — сказал он в заключение, — от чего может не состояться ваша свадьба; тогда

вы вспомните, что вас любит другой.

Я очень рассердился и хотел сам объясниться с этим фактом; но Летти сказала, что она его уже выпроводила из дома, и просила не говорить ничего Джорджу, чтобы не дошло до ссоры и чего доброго — дуэли. Джордж приехал в тот же вечер и просидел до рассвета, когда ему пришлось расстаться и отправиться на корабль. Проводив его до дверей и еще раз пожав ему руку, я воротился в столовую, где бедная Летти рыдала на диване.

Я невольно вздрогнул, взглянув на портрет, висевший над нею. Станным, сумрачным светом занимавшейся зари едва ли можно было объяснить чрезвычайную бледность лица. Подойдя ближе, я заметил, что оно покрыто влагой, и подумал, что, верно, Летти в первом припадке горя бросилась целовать портрет милого и что влага эта — следы ее слез. Долго спустя я как то подшутил над нею по этому поводу — и тут только узнал, что ошибся. Летти торжественно объявила, что портрета не целовала.

— Вероятно, лак запотел, — заметил Гарри. Тем и кончилось, потому что я промолчал; но я, хотя и не художник, знал очень хорошо, что лак совсем не так потеет.

Летти с дороги получила два письма от Джорджа. Во втором он писал, что едва ли теперь скоро удастся подать о себе весть, потому что они забираются в очень высокую широту, куда не заходят торговые суда, а только одни ученые экспедиции. Все, по его словам, были веселы и здоровы, льда пока встречалось мало, и Грив сидел без дела, потому что никто еще даже не хворал.

За этим письмом последовало долгое молчание — прошел целый год, бесконечный для бедной Летти. Раз только мы читали заметку об экспедиции в газетах — все обстояло благополучно. Прошла еще зима — наступила опять весна, ясная, благорастворенная, какой иной раз бывает она даже в угрюмых, изменчивых северных климатах.

Однажды вечером мы сидели в столовой у раскрытого окна. Хотя мы давно перестали топить, в комнате было так душно, что мы с жадностью вдыхали вечернюю прохладу. Летти работала; она, бедненькая, никогда не роптала, но

очевидно тосковала по Джорджу. Гарри стоял, наполовину высунувшись из окна, и любовался при вечернем освещении фруктовыми деревьями, которые были уже в полном цвету. Я сидел у стола и при свете лампы читал газету. Вдруг в комнату пахнул холод. Это был не ветер, потому что оконный занавес даже не шевельнулся. Просто вдруг сделалось холодно — и сейчас же опять прошло. Летти, как и меня, пробрал озноб. Она взглянула на меня.

— Как странно — вдруг холодом обдало! — сказала она.

— Это маленький образчик погоды, которой наслаждается бедный Джордж у полюса, — ответил я с улыбкой.

В то же время я невольно взглянул на портрет — и онемел, кровь хлынула к сердцу, и недавний холод заменился ощущением горячечного жара... На столе, как я уже говорил, горела лампа, чтоб мне можно было читать; но солнце только еще заходило — и в комнате далеко не было темно. Я ясно видел ужасную перемену, происшедшую с портретом; это была не фантазия, не обман чувств: вместо головы и лица Джорджа, я увидел обнаженный, ослабляющийся череп с темными впадинами глаз, белыми зубами, голыми скулами — как есть, мертвая голова! Не говоря ни слова, я встал и пошел прямо к портрету. По мере того, как я приближался, мне точно застилало глаза туманом, а когда подошел совсем близко — я увидел уже лицо Джорджа. Адамова голова исчезла.

— Бедный Джордж! — проговорил я бессознательно.

Летти подняла голову. Мой тон испугал ее — выражение лица моего не успокоило ее.

— Что это значит? Уж не слыхал ли ты чего? О, Роберт, ради Бога, скажи!

Она встала, подошла ко мне и, положив руку на мою руку, умоляющими глазами смотрела на меня.

— Нет, душа моя, — сказал я, — откуда же мне слышать? Мне только невольно припомнились все труды и лишения, которые ему приходится терпеть. Мне напомнил этот холод....

— Какой холод? — спросил Гарри, тем временем отошедший от окна. — Что это вы толкуете? Этаким вечер, а они —

холодно! Лихорадка у вас, что ли?

— Мы оба с Летти почувствовали сию минуту сильный холод. А ты?

— Ничего не чувствовал!.. а мне, кажется, ближе бы — я стоял, на три четверти высунувшись из окна.

— Какое сегодня число? — спросил я, еще с минуту подумав, как странно, что этот холод только пронесся по комнате — точно в самом деле повеял прямо с полюса, и находился в связи с замеченным мной сверхъестественным явлением.

— 23-е, — отвечал Гарри, взглянув на номер газеты.

Когда Летти вышла из комнаты, я рассказал Гарри, что я видел и чувствовал, — и просил его записать число, опасаясь, не случилось ли чего с Джорджем.

— Записать — запишу, — сказал он, вынимая памятную книжку, — только у вас с Летти или желудки расстроены, или прилив крови к голове — что-нибудь в этом роде.

Я, конечно, не стал с ним спорить. Летти немного погодя прислала сказать, что ей не совсем здоровится и что она легла в постель. Жена моя вошла и спросила, что случилось.

— Не следовало сидеть с растворенным окном, — сказала она. — Вечера хотя и теплые, но ночной воздух иногда вдруг проберет холодом. Во всяком случае, Летти, должно быть, сильно простудилась: ее знобит.

Я не пускался в объяснения, тем более что Гарри, очевидно, склонен был подтрунивать надо мной за мое суеверие; но позже вечером, оставшись один с женой в нашей комнате, я рассказал ей все, что было, и высказал ей мои опасения. Это ее сильно встревожило, и я почти раскаялся, что сказал ей.

На следующее утро Летти было лучше — и, так как никто из нас более не упоминал о случившемся, то вчерашнее происшествие как будто забылось, но с того вечера я постоянно поджидал дурных известий. Наконец предчувствие мое сбылось.

Однажды утром я только что сходил в столовую к завтраку, как раздался стук в дверь, и Гарри вошел — против заве-

денного порядка, потому что он утра проводил у себя в мастерской и заходил к нам обыкновенно только вечером по дороге домой. Он был бледен и взволнован.

— Летти еще нет здесь? — просил он, и не дождавшись ответа, задал новый вопрос: — Какую газету ты получаешь?

— «Daily News», — отвечал я. — Почему ты спрашиваешь?

— Летти, наверное, еще не выходила из своей комнаты?

— Нет.

— Слава Богу. Посмотри!

Он вынул из кармана газету и подал мне, указав на коротенький параграф. Я понял, в чем дело, как только он спросил о Летти.

Параграф был с заглавием: «*Несчастный случай с одним из офицеров на “Пионере”*». В нем говорилось, что, по известиям, полученным в адмиралтействе, экспедиция не отыскала пропавших, но нашла след их. По недостатку запасов ей пришлось воротиться, но командиру хотелось, лишь успеют сделать нужные поправки, опять пойти по найденным следам. Далее говорилось, что «несчастный случай лишил экспедицию одного из лучших офицеров, лейтенанта Мэзона, который упал с *ледяной горы* и убился до смерти, отправившись на охоту с доктором. Его все любили, и смерть его навеяла тоску на эту горсть бесстрашных исследователей».

— В «Daily News», слава Богу, еще нет, — сказал Гарри, пробежав нумер, пока я читал, — но тебе надо будет остерегаться, чтоб не попало ей в руки, когда будет напечатано — чего не миновать рано или поздно.

Мы взглянули друг на друга со слезами в глазах.

— Бедный Джордж! бедная Летти! — вздохнули мы.

— Но надо же будет когда-нибудь сказать ей, — проговорил я погодя.

— Поневоле, — возразил Гарри, — но это убьет ее, если она узнает так вдруг. Где твоя жена?

Она была в детской, но я послал за ней и сообщил ей недобрую весть.

Она старалась подавить свое волнение ради бедной Летти, но слезы текли по ее щекам, несмотря на все ее усилия.

— Как решусь я сказать ей? — повторила она.

— Тише! — произнес Гарри, схватив ее за руку и взглядывая на дверь.

Я обернулся: на пороге стояла Летти, бледная как смерть, с полураскрытыми губами и тупо глядевшими глазами. Мы не слышали, как она вошла, и не знали, сколько она слышала из нашего разговора — во всяком случае, достаточно, чтобы не нужно было более ничего сообщать ей. Мы все бросились к ней; но она рукой отстранила нас, повернулась и ушла наверх, не сказав ни слова. Жена моя поспешила за ней и нашла ее на коленях подле кровати — без чувств.

Послали за доктором; она скоро очнулась, но несколько недель пролежала опасно больная.

Прошло около месяца после ее полного выздоровления, и она уже сходила вниз, когда я увидел в газетах известие о возвращении «Пионера»; но, так как оно уже не имело для нас интереса, то я ни с кем не поделился этой вестью, тем более, что сестре больно было бы слышать само это имя. Вскоре после того, я сидел у себя и писал письмо — вдруг слышу громкий стук в парадную дверь. Я оторвался от своего занятия и стал прислушиваться, потому что голос посетителя показался мне не совсем знакомым. Подняв глаза в недоумении, я случайно остановил взгляд на портрете бедного Джорджа — и не знал, во сне ли я или наяву. Я уже говорил, что он был изображен с рукой, опиравшейся на рукоять кортика. Теперь же я ясно видел, что указательный палец был поднят, точно в предостережение от чего-то. Я пристально вглядывался, чтобы убедиться, что это не игра воображения, — и еще заметил две кровавых капли, ярко и ясно выступавшие на бледном лице. Я подошел к портрету, ожидая, что и это явление исчезнет, подобно мертвой голове, но оно не исчезало; только приподнятый палец, при близком осмотре, оказался маленькой белой мошкой, сидевшей на полотне. Красные капли были жидки, но, конечно, не кровавые, хотя я сначала не знал, как объяснить их. Мошка была в состоянии спячки; я ее снял с карти-

ны и положил на камин под опрокинутую рюмку. Все это заняло меньше времени, чем потребовалось на описание. В ту минуту, как я отходил от камина, служанка принесла карточку и сказала, что джентльмен ждет в передней и спрашивает, могу ли я его принять. На карточке было имя Винсента Грива. «Слава Богу, что Летти дома нет», — подумал я и вслух сказал служанке: «Просите; но если жена и мисс Летти придут домой прежде, чем этот джентльмен уйдет,— скажите им, что у меня гость по делу, и я прошу сюда не входить».

Я пошел к двери встречать Грива. Переступая порог, еще прежде, чем мог видеть портрет, Грив остановился, весь содрогнулся и побледнел, даже до губ.

— Закройте этот портрет, прежде чем я войду, — проговорил он торопливо, глухим голосом. — Вы помните, как он и тогда на меня действовал; теперь будет еще хуже после этого несчастья.

Я лучше прежнего понимал его чувство — сам довольно намучился с портретом и не без страха глядел на него. Итак, я снял скатерть с небольшого кругленького столика, стоявшего у окна, и накинул ее на картину. Тогда только Грив вошел. Он сильно изменился. Лицо его было еще худощавее и бледнее, глаза и щеки впали; кроме того, он как-то странно сгорбился, и взгляд его выражал уже не хитрость, а какой-то ужас — точно у затравленного зверя. Я заметил, что он ежеминутно поглядывал в сторону, как будто слыша кого-то за собой. Этот человек мне никогда не нравился, но теперь я чувствовал непреодолимое отвращение к нему — такое отвращение, что рад был вспомнить, как, исполняя его просьбу закрыть картину, я не подал ему руки. Я никак не мог говорить с ним без холодности, притом я решил объясниться с ним напрямик. Я сказал ему, что я, конечно, рад его благополучному возвращению, но что не могу просить его по-прежнему бывать у нас, — что я бы желал узнать подробности смерти бедного Джорджа, но не позволю ему, Гриву, видеть мою сестру, — и в то же время, по возможности деликатнее, намекнул на непристойность его поведения перед отъездом. Он выслушал меня очень спокой-

но; только глубоко, тоскливо вздохнул, когда я сказал, что должен просить его не повторять своего визита. Он был, очевидно, так слаб и болен, что мне пришлось предложить ему рюмку вина, и он с явным удовольствием принял мое предложение. Я сам достал из шкафа херес и бисквиты и поставил на стол между нами; он налил себе рюмку и с жадностью духом выпил.

Мне стоило немалого труда заставить его рассказать мне о смерти Джорджа. Наконец он с явной неохотой рассказал, что они вместе пошли на белого медведя, которого увидели на ледяной горе, причалившей к берегу. Гора заканчивалась с одной стороны острием, как крыша дома, и отлогость выдавалась над страшной бездной. Они взобрались на самый верх, и Джордж неосторожно ступил на покатуую сторону.

— Я звал его, — продолжал Грив, — я просил его вернуться, но было поздно. Он пробовал поворотить назад, но поскользнулся. Последовала ужасная сцена. Сначала медленно, а потом все быстрее, он скользил к краю. Не за что было ухватиться — ни малейшего выступа или шероховатости на гладкой поверхности льда. Я скинул сюртук и, наскоро прикрепив его к ружью, протянул ему — не хватало. Прежде, чем я успел привязать еще галстук, он соскользнул еще дальше и продолжал стремиться вниз с возрастающей быстротой. Я в отчаянии закричал, но не было никого поблизости. Он понял, что участь его решена, — и только успел сказать мне, чтобы я передал его последнее *прости* вам и... и ей...

Голос Грива оборвался, однако он продолжал:

— Мгновение спустя все было кончено: инстинктивно уцепился он на секунду за край и — исчез!

Грив едва произнес последнее слово, как у него отвисла челюсть, глаза его точно собирались выкатиться из впадин... Он вскочил на ноги, указал на что-то сзади меня, замахал по воздуху руками — и с громким криком свалился, как подстреленный. С ним сделался припадок падучей болезни.

Я невольно обернулся, в то же время бросаясь поднимать его с пола: скатерть сползла с портрета — и лицо Джор-

джа, казавшееся еще бледнее от красных пятен, сурово глядело на нас. Я позвонил. К счастью, Гарри подошел тем временем — и, когда служанка сказала ему о случившемся, он прибежал и помог мне привести Грива в чувство. Картину я, разумеется, опять закрыл.

Когда Грив совсем пришел в себя, он объяснил, что с ним бывают такие припадки. Он тревожно расспрашивал, не говорил ли и не делал ли чего особенного, пока продолжался припадок, — и видимо успокоился, когда я сказал ему, что ничего не было. Он извинялся в причиненном беспокойстве и объявил, что как только почувствует себя посильнее — простится с нами. Говорил он это, облокотившись на камин. Белая мошка бросилась ему в глаза.

— У вас, верно, был уже кто-нибудь с «Пионера?» — спросил он нервно.

Я отвечал, что никого не было, и спросил, почему он так думает.

— Да вот этой белой мошки не бывает в такой южной широте, — сказал он, — это один из последних признаков вымирающей жизни на дальнем севере. Откуда она у вас?

— Я ее поймал здесь, в этой комнате.

— Это очень странно. Никогда я ничего подобного не слышал. Я после этого не удивлюсь, если начнут рассказывать о кровавых дождях.

— Я вас не понимаю, — сказал я.

— Эти насекомые в известное время года выпускают из себя капли красной жидкости — иногда в таком количестве, что люди суеверные воображают, будто бы это кровавой дождь падает с неба. Я видел местами большие красные пятна от них на снегу. Берегите ее — это большая редкость на юге.

Когда он ушел — а ушел он почти сейчас же, — я заметил красную крапинку на камине под рюмкой. Этим объяснялось пятно на картине — но откуда взялась мошка?

Была еще одна странность, в которой я не мог хорошенько удостовериться, пока Грив был в комнате, так как в ней горели две или три лампы, — но относительно которой я не мог остаться в сомнении, лишь только он вышел на улицу.

— Гарри, ступай сюда — скорей! — крикнул я брату. — Ты художник — посмотри и скажи, не замечаешь ли чего особенного в этом человеке?

— Нет, ничего, — отвечал было Гарри, но потом спохватился и сказал изменившимся голосом: — Вижу — клянусь Юпитером, *у него двойная тень!*...

Вот чем объяснялись взгляды, которые он бросал по сторонам, и его согбенная осанка: ему всюду сопутствовало что-то такое, чего никто не видел, но от чего ложилась тень. Он обернулся — и, увидев нас у окна, немедленно перешел на тенистую сторону улицы. Я все рассказал Гарри — и мы решили, что лучше Летти не говорить.

Два дня спустя я навестил Гарри в его мастерской — и, возвратясь домой, нашел у себя страшный переполох. Летти сказала мне, что в мое отсутствие явился Грив. Жена моя была наверху. Но Грив не ждал, чтобы о нем доложили, а прямо прошел в столовую, где сидела Летти. Она заметила, что он старается не глядеть на портрет — и, чтобы вернее не видеть его, сел под ним, на диван. Затем, несмотря на ее негодующий протест, повторил свое объяснение в любви; уверяя ее, что бедный Джордж, умирая, умолял его отправиться к ней, охранять ее и — жениться на ней.

— Я так рассердилась, что не знала, как и ответить ему, продолжала Летти. — Вдруг, не успел он произнести последних слов, что-то звякнуло, точно гитара разбилась и... право, не понимаю, как это случилось — только портрет упал, углом тяжелой рамы раскроило Гриву висок, и он лишился чувств.

Его снесли наверх по приказанию доктора, за которым жена моя послала, как только узнала об этом происшествии, — и положили на кушетку в мою уборную, куда я и отправился. Я намеревался упрекнуть его за то, что он опять пришел, несмотря на мое запрещение, — но нашел его в бреду. Доктор сказал, что это престранный случай, потому что одним ударом, хотя и сильным, едва ли объясняются симптомы горячки. Когда он от меня узнал, что больной только воротился на «Пионере», — то сказал, что, может быть, перенесенные им труды и лишения надорвали орга-

низм и положили начало болезни.

Мы послали за сиделкой по настоянию доктора.

Конец моей истории недолго рассказать. Посреди ночи меня разбудили громкие крики. Я наскоро облачился — и, выбежав из спальни, застал сиделку с Летти на руках... Летти была без чувств. Мы ее снесли в ее комнату — и там сиделка объяснила нам, в чем дело.

Оказалось, что около полуночи Грив сел на постели и начал бредить — говорил он такие ужасные вещи, что сиделка испугалась. Она, конечно, не успокоилась, заметив, что хотя у нее горела одна свеча — на стене означились две тени. Обеспамятев от ужаса, она прибежала к Летти и объявила, что ей страшно одной; Летти, добрая и не трусиха, оделась и сказала, что просидит с ней ночь. Она тоже видела двойную тень — но это ничто в сравнении с тем, что она слышала. Грив сидел, уставившись глазами в невидимый призрак, от которого падала тень. Дрожащим от волнения голосом он умолял его оставить его, умолял простить ему.

— Ведь ты знаешь, — говорил он, — что преступление было непредумышленное. Ты знаешь, что внезапное наваждение дьявола заставило меня толкнуть тебя в пропасть. Он искусил меня воспоминанием о ее прелестных чертах... о нежной любви, которая, не будь тебя, могла бы принадлежать мне. Но она не внимает мне! Смотри, Джордж Мэзон, — она отворачивается от меня — точно знает, что я убил тебя...

Эту страшную исповедь сама Летти повторила мне шепотом, прижимаясь лицом к моему лицу.

Теперь я все понял. Я только что собрался рассказать сестре все странные обстоятельства, которые скрывал от нее, — когда опять вбежала сиделка с известием, что больной исчез: он в бреду выскочил из окна. Два дня спустя тело его было найдено в реке.

Георг фон дер Габеленц

ПРИЗРАКИ

После двухлетней разлуки встретившиеся друзья, Григорий Головин и Франц Пиркгаммер, разговорились, усевшись на каменной скамье под тенью огромного векового дуба. Знойное римское солнце лило в ленивой истоме снопы лучей на стены, арки и обломки колонн дворца Тиверия.

Головин сидел, подавшись вперед, облокотившись о колени, вертя в худых и подвижных пальцах желтую японскую трость, которой он чертил на песке причудливые фигуры и тотчас же быстро и нервно стирал их.

Черные волосы его выбились из-под сдвинутой на затылок соломенной шляпы и, нависнув над самым лбом, бросали тень на бледное лицо его, цвет которого не в силах были оживить ни палящее солнце, ни возбуждение громкой беседы.

Крупные губы его, обрамленные редкими и беспорядочными усами и бородкой, нервно подергивались при каждом слове; темные глаза его рассеянно следили за быстрыми движениями трости.

— Утомленный вид ты нашел у меня? — почти насмешливым тоном спросил он Пиркгаммера. — Милый друг, с каких это пор тебя начало удивлять то, что естественно?

— По-твоему, это естественно? Почему? Ведь тогда, когда мы с тобой виделись в последний раз, ты был, я помню, совершенно здоров!

— Да нет же, Франц, — именно тогда я был уже болен; по-внешнему это еще, быть может, просто не было заметно. Ну, а с тех пор прошло два года... — Трость усиленно зачертила по песку. — И зачем только я вообще влачу эту жизнь... пустую, лишенную какой бы то ни было цели и смысла! Мое несчастье не утратило за это время ни силы, ни яркости... нисколько!

— Неужели это правда? — спросил после паузы Франц.

— Правда, поверь мне. Густой туман налег мне на душу и давит ее, тяжелый и холодный, как наш русский снег.

Пиркгаммер пренебрежительно пожал плечами.

— Вольно же тебе, друг любезный!

— В том то и дело, что моя воля тут ни при чем.

— А как идут работы твои?

Головин ничего не ответил; по-видимому, он в задумчивости даже не расслышал вопроса друга — и как будто весь был поглощен тщательным вычерчиванием круга на песке.

— Я часто задумываюсь над тем, как поразительно пуста может быть человеческая жизнь, — негромко и медленно заговорил снова Головин. — Как поразительно пуста! Точно фляга, из которой выпито вино до последней капли. Не понимаю сам, как я живу с этой пустыней внутри. В жизни моей было одно только содержание — любовь к ней, к Андреа. Вся она, моя бедная жизнь, висела только на тех невидимых нитях, которые привязывали мое сердце к ее сердцу... или, вернее, которые шли от нее и опутывали, захватывали собой всего меня. Все это разом оборвалось с ее уходом, весь свет моей жизни погас, — душу души моей она вынула из меня, точно перерезала все двигавшие ее пружины.

— Полно, друг мой... Оставь прошлое! — с участием глядя на него, сказал Пиркгаммер. — Того, что умерло, не следует будить, потому что...

— Нет, нет! — перебил его Головин. — Иногда и на мертвых оглянуться необходимо. Мне хотелось бы когда-нибудь выплеснуть перед тобой всю историю моей жизни: ведь ты один сколько-нибудь видел ее, хоть и издали. И ты знал Андреа — знаешь, что это было за дивное существо... или хоть угадывал это, по крайней мере.

— Да, это правда. Если хочется, рассказывай сейчас.

— Расскажу; мне это необходимо. Только прости, если я в некоторых подробностях, быть может, буду повторяться. Увидел я в первый раз Андреа в Берлине, в одном обществе, где она спела два романса. Музыку она сама написала. Ее чарующий голос, — это мягкое, меланхолическое контральто, — овладел всей моей душой еще больше, чем ее экзотическая красота. У нее отец — поляк, мать — еврейка; порою, ты понимаешь, незаурядная, отмеченная характером, яркой индивидуальностью. Она была создана, чтобы пленять и увлекать всякого мужчину. А я, Франц... я только и жил тогда, когда видел и слышал ее!

Пиркгаммер положил руку на плечо друга и проговорил с мягкой улыбкой:

— Опять преувеличения, Головин? С первых же слов?

— Ты можешь относиться к этому, как хочешь; я говорю, что она была существо совершенно необыкновенное. Я начал искать встреч с ней, где только мог — видеть и слышать ее стало для меня потребностью. Она была нужна мне, как солнце, как свет, как воздух... Все это прошло безвозвратно!

Головин устало провел рукой по лбу, потом вдруг выпрямился и окрепшим голосом сказал:

— Нет, было бы трусостью избегать касаться моего горя! Да мне и легче будет, если я поговорю о нем. Мне слишком долго пришлось молчать о нем и одиноко переживать все. Только еще раз прошу тебя, — будь терпелив, если я погрешу длиннотами или повторениями; но я не могу опустить ни одного звена из цепи, опутавшей всю мою жизнь, — потому что тогда тебе может все показаться бессмыслицей, или я сам — сумасшедшим.

Мне уже случалось рассказывать тебе о себе; ты знаешь, что я был с детства очень нервен и впечатлителен; что волновался по пустякам и легко поддавался вспышкам гнева, то почти без причины бродил унылый и подавленный. И гимназистом, и студентом я отличался тем, что сегодня готов был на ожесточенную борьбу и на смерть за идею, а завтра мог безвольно и безропотно покориться любому жребию, какой ни послала бы мне судьба.

Ты знаешь, нашему поколению на моей родине трудно живется; не раз и моя душа металась и билась, не раз и во мне закипал страстный протест, и в сознании своего полного бессилия в неравной борьбе, я не раз готов был оборвать свою молодую, поневоле бесполезную жизнь. Но ведь и для этого нужна решимость, которой всего меньше отпущено нам, обломовым. Ты сам часто, то шутливо, то негодуя, ругал меня Обломовым.

Да нет, я не сержусь на тебя, — перебил себя Головин, заметив, что Пиркгаммер сделал протестующее движение. — Ты по своей натуре не мог не возмущаться этим, и я впол-

не сознаю, что ты прав: но от этого мне не легче, и не меньше я страдал от бесплодных дум и грез моей бескрылой души.

Ты помнишь, я говорил тебе, что долго носился с мыслью написать русского Фауста. По моему замыслу, русский Фауст так и остается жертвой мук своих сомнений и преступности своей жизни, — не найдя ни примирения, ни исхода, потому что нет у него нужных для этого сил и веры, и радости жизни, и бодрости труда и борьбы, — потому что он слишком русский, потому, наконец, что нет в его жизни завтра, которое могло бы искупить вины сегодняшнего дня и уплатить по его долговым обязательствам.

Всецело захваченный и поглощенный своей идеей, я решил тогда замкнуться в уединении, чтобы поработать без помехи над своей книгой. Я нанял на зиму охотничий домик в несколько комнат, в глуши Курляндии, и безвыходно засел там, а снег заносил все больше и больше мою берлогу. Работать я мог вволю, так как, кроме лесных сторожей, по целым неделям не видел ни души.

Долгие вечера и ночи нашей русской зимы я просиживал за чтением или письмом, — опутанный, в буквальном смысле слова, как паутиной, своими мыслями. Но как я ни терзался и ни напрягал воображение, мне все не удавалось найти образы, в которые я мог бы вылить свои мысли; а если иногда и рождался удовлетворительный образ, — я не находил настоящих слов, в которые естественно и художественно облекся бы уловленный образ.

Это была утомительная борьба. Не умея ни справиться с своей задачей, ни сбросить с себя ее порабощающую власть, я все больше и больше впадал в уныние и бездействие — и часто, лениво бродя по лесу, готов был поддаться искушению, опуститься где-нибудь на снегу под старой сосной, как медведь, и уснуть навеки, занесенный снегом.

Так блуждал я однажды по лесу, то и дело случайно возвращаясь по собственным следам. Усталый и продрогший, я уже собирался вернуться в дом, когда навстречу мне вынырнул из сугробов у лесной опушки человек, — как оказалось, нарочный из города, разыскивавший охотничий до-

мик, чтобы вручить живущему там господину телеграмму.

Это была весть о смерти моей матери.

— Отец твой умер еще раньше? — спросил Пиркгаммер, стараясь вывести из задумчивости умолкшего друга.

— Да, — коротко откликнулся Головин и, помолчав еще секунду, продолжал: — На другой же день я уехал из лесного домика, тогда же решив больше в него не возвращаться. Мне было бы жутко там, я не мог бы больше остаться один ни на одну ночь.

Мать моя умерла в Петербурге, там я и похоронил ее, и с тех пор Петербург больше не выпускал меня из своих цепких объятий. Скоро я был втянут в его кипучий водоворот. Как раз в это время там начинали разыгрываться крупные и важные события,

За время моего добровольного отшельничества в глуши курляндских лесов я совершенно оторвался от газет и их вдохновительницы — политики и перестал интересоваться всей праздною болтовней на темы о причинах и следствиях наших поражений на Дальнем Востоке, — потому что давно уже изверился в политиках и в том, что кто-нибудь из них найдет философский камень человеческого благоденствия. А тут я вдруг оказался брошенным в самый центр сумятицы и бурных волнений всякого рода.

И этот вихрь закружил и меня. В душе моей всегда жило глубокое чувство любви к родине, — моментами оно только засыпало от бездействия. А тут я вдруг слышал далекие раскаты, предшествующие великим событиям; для меня они прозвучали призывным колокольным звоном. Я дышал воздухом, насыщенным тысячами опасных микробов.

Нет ничего заразительнее зрелища людей, занятых делом разрушения. Ничто так не воодушевляет, как речи и победные клики над развалинами храмов. Теперь я могу философствовать обо всем этом спокойно, но тогда мне было не до рассуждений.

Я стоял среди опьяненной свободой толпы, и сердце мое билось в такт всем сердцам и было полно тех же надежд и желаний. Я верил их крикам, я дышал их воздухом и рвался туда же, куда шли все, — и мой восторг перед новым и

прекрасным, перед свободой и счастьем народа вылился в одном зажигательном стихотворении, которое я отдал для напечатания в газету — отчасти из тщеславного чувства, но в то же время и по искреннему убеждению.

Долгие недели потом мне пришлось искупать свое неразумие в тюрьме и с большим трудом я избег худшего. Очувтившись, наконец, снова на свободе, я бежал в Германию, на родину моей матери.

Я был свободен, но был похож на дерево, вырванное с корнями из земли, на котором бессильно повисли, умирая, готовые зачехнуть листья.

Ты, наверное, заметил, в каком душевном состоянии я приехал тогда, бесконечно одинокий внутренне и внешне, потерявший всякие надежды и даже силы искать новых надежд. Мне стыдно сознаваться в этом, но это было так.

И что было мне всего горше, — рукопись моей книги, над которой я столько работал, была отобрана у меня, вместе с другими бумагами, при моем аресте, — и, несмотря на все мои усилия, мне не удалось получить ее обратно; вероятно, она была сожжена. Погиб весь труд и надежды, погибло все, чем я жил много месяцев. Начинать сначала — не было сил и подумать.

По-внешнему я как будто жил, как все, — ел, спал, ходил гулять, прочитывал время от времени газету, даже встречался со знакомыми и друзьями — или, вернее, с людьми, называвшими себя моими друзьями, — но, в сущности, я жил почти без воли и сознания, как растение. Не было у меня желания ни продлить такую жизнь, ни сократить ее, — я жил, отдавшись на волю судьбы.

Тогда я встретил Андреа. Как раз вовремя.

В ней били ключом жизнь и силы, и радость, — вся она была такая свежая, бодрая и легкая. Я не мог надивиться и налюбоваться на эту кипучую жизнь, — я рвался и тянулся к ней, как засыхающее растение тянется к живительным струям дождя. И она сумела сделать чудо: она прогнала мою тоску, поддержала меня, не дала мне сломиться и научила меня надеяться, когда я впадал в отчаяние.

Андреа понимала меня так, как никто никогда меня не понимал; главное — она понимала то душевное состояние, которое владело мной. Она умела угадывать каждую мою мысль раньше, чем я успевал ее оформить, и тонким женским чутьем умела объяснить, оправдать и направить каждое мое душевное движение. И все это так легко и просто, с такой мягкой и доброй улыбкой!

Лучшим моим стихотворением было и осталось то, которое я посвятил ей. Все, что было во мне усталого, унылого и надломленного, мало-помалу воспрянуло, выпрямилось и забилося новой жизнью. У меня назрел даже план романа, и мы вместе обдумывали его главу за главой, обсуждали характеры, положения и действие. Нельзя было и учесть ее драгоценную помощь, — потому что она не только угадывала мои невысказанные мысли, но умела извлекать на свет Божий и то, что в смутных очертаниях таилось в самых сокровенных и недоступных уголках моей души.

Все больше и больше она становилась для меня источником моего душевного возрождения и, наконец, случилось то, что должно было случиться.

Я полюбил Андреа и вся жизнь моя, весь мир сосредоточились в ней одной.

Когда я однажды бурно высказал ей свое чувство и свою жажду назвать ее своей женой, она как будто испугалась этого, как неожиданности. От прямого ответа она уклонилась, само признание мое сумела обратить в шутку и при этом так обласкала меня тысячью мягких и нежных слов, что я не сразу и понял, что она ушла от меня совсем.

В течение нескольких дней после этого она старалась бережно и незаметно отнять у меня всякую надежду.

Для меня потянулись мучительные недели, полные темных безысходных дум. Отказ Андреа стать моей женой был тем непонятнее, что ей некому было отдавать отчет в своих поступках; родителей у нее не было, она ни от кого не зависела и, казалось, ничто не мешало ей последовать тому, что тайно связывало нас, вытекая из неисследованных глубин человеческой души.

— Постой, Головин... — перебил его вдруг Пиркгаммер

с невольным жестом нетерпения. — Ты опять готов уклониться в сторону своих фантазий!

— Фантазий? Каких?

— Ну, конечно же, фантазий! Я, по крайней мере, не вижу во всем этом ничего необыкновенного и необъяснимого. Рассуди сам. Андреа интересовалась тобой и твоей судьбой, принимала в тебе живое и искреннее участие, — словом, была для тебя идеальным другом; но она не любила тебя, — то есть не любила настолько, чтобы стать из чуткого и сочувствующего друга твоей женой. Что же тут необычайного? И зачем искать объяснения такой простой вещи в области сверхчувственного? Ты впадаешь в свое старое заблуждение, милый друг.

— Как ты презрительно говоришь о заблуждениях... Но без них мы никогда не познали бы никакой истины. Чтобы найти свет, мы должны погружаться во мрак. Но ты, прежде всего, не дослушал до конца. Поверь мне, я добросовестно старался вникнуть во все, происходившее вокруг меня, — в то, что мне, против воли, приходилось переживать чуть не ежедневно и ощущать, никогда не протянув руки за этим.

— Что же это было, по-твоему?

— Это были видимые и незримые, ощутимые и неуловимые нити, исходившие от Андреа и привязывавшие меня к ней. Вот тебе пример, один из многих. Я всегда *знал*, где и когда могу встретить ее, — как будто чувствовал, когда она выходит из дома. Какая-то странная, чуткая настороженность обостряла все мои чувства — и в то же время я как будто не выходил из состояния грез, державших мою душу в вечной радостной тревоге. В такие мгновения я ничем больше не в состоянии был заняться, ни на чем больше не мог сосредоточить мысли; Андреа овладевала всей моей душой.

Не подходя к окну, я *видел*, как она заворачивала за угол улицы и поднимала глаза на окна моего дома, — я чувствовал это так отчетливо, как будто камни и известь, и обои стен приобретали вдруг свойство проводимости, как металлическая пластина проводит электрический ток. Си-

дя в многолюдном обществе, я чувствовал вдруг всем телом легкое прикосновение ее пальцев, — когда она снаружи бралась рукой за ручку двери.

Когда мы говорили одни, я знал заранее, что она сейчас скажет. Она часто смеялась над тем, как я «считывал» слова с ее губ, — но иногда это пугало ее; мне кажется, ей от этого было всегда не по себе. По крайней мере, мне вспоминается, что, даже засмеявшись, она вдруг умолкала и на время притихала в раздумье.

Таким образом, я в буквальном смысле слова жил одной жизнью с ней, — и только одного я не предугадал: что она оттолкнет и оставит меня. Нет, — вернее, я угадывал и это, только верить не хотел и уверял себя, что ошибаюсь в этом.

Могло быть и так, — потому что с тех пор, как мы все трое случайно встретились на берегу моря, и ты каждый день проводил с нами, — нити, протягивавшиеся от нее ко мне, как будто вдруг, странно и непонятно, ослабели. Каким-то образом, — один Бог знает, как и почему — ток, исходивший от нее и передававшийся моей душе, вдруг прервался или пошел в другом направлении от того, что ты стал между нами.

Да, да... — поспешил Головин прибавить, видя, что Пиркгаммер удивленно подался вперед, — я знаю сам и сам твердо уверен, что ты не виноват в этой перемене ничем.

Ты часто старался подтянуть меня, заставить меня ободриться, — тебе казалось, что я переутомлен и нездоров. Но дело было не в этом; я страдал от душевного разрыва, я чувствовал себя несчастным от того, что свет снова померк для меня с отказом Андреа стать моей женой. Быть может, было бы лучше и достойнее мужчины — положить, так или иначе, конец этому состоянию? Нет, для меня это значило вырвать сердце из груди. Нельзя сжечь корабль, на котором плывешь. И я остался.

Это было безумие! Теперь я знаю, что побудило ее к бегству. Я, я сам это сделал! Я сам прогнал ее своими неотступными мольбами, своей болезненной впечатлительностью. Быть может, она и боялась...

Головин умолк, видимо, снова углубившись в свои думы, и не замечал, с какой тревогой и участием наблюдал за ним Пиркгаммер. Понурая, сгорбившаяся фигура друга, эти глаза, так странно блуждающие в пространстве, это осунувшееся лицо и непрерывные нервные движения рук начинали просто пугать его.

Он решил не давать ему больше говорить и, взяв его за плечо, мягко сказал:

— Оставим это на сегодня, — взгляни лучше, как ярко солнце золотит крышу Капитолия! Это надо будет написать. Таких тонов мне еще ни разу не случалось видеть.

Но Головин даже не повел головой и, по-прежнему глядя неподвижным взглядом в лиловую глубину неба, снова заговорил как будто про себя:

— Мы воображаем, что все, все знаем, — но мы не знаем ничего, совершенно ничего! Какими истинами мы владеем? Что можем мы понять в другом, когда не понимаем себя самих? Что-то совершается внутри нас и куда-то стремится, но в то же время это и вне нас, — и вся наша жизнь кажется порой рядом бессмысленных и безвольных прыжков, точно пляска карточного паяца, дергаемого за шнурок.

Конечно, нет ничего нового в том, что я говорю. Целые тысячелетия бьются бедные сыны земли над непостижимым, мечутся, терзаются, рыщут — и в конце концов вынуждены примириться с невозможностью проникнуть в тайну. Мы со всех сторон окружены, опутаны загадками; из загадки возникает наша жизнь, загадкой кончается, — и нельзя сказать, чего больше — жестокости или благодетения — в том, что мы не можем распутить эту загадку, как затейливое вязанье. В утешение себе, мы придумываем какие-нибудь названия подобным вещам, — иногда очень звучные; прекрасно, — но что же потом? Разъясняет ли это что-нибудь? Становится ли от этого что-нибудь менее непонятным и страшным?

Я забыл рассказать тебе образчик поразительной отчетливости и верности моих видений.

Раз я, лежа на диване в своей комнате, случайно поднял глаза на противоположную стену, на которой висело

мое большое старинное зеркало. К моему изумлению, зеркала не оказалось на месте, а вместо него я увидел небольшое, очень изящной формы, зеркало в белой лакированной раме. Подумав, что квартирохозяйка моя самовольно распорядилась так, я хотел было встать и позвать ее, чтобы узнать, зачем это ей понадобилось, как вдруг отчетливо увидел в новом зеркале фигуру Андреа.

Она была в красной шелковой блузке с белым узорным рисунком, которой я ни разу еще не видел на ней, — и остановилась перед зеркалом, чтобы надеть длинное серое пальто. Не спеша застегивала она одну за другой перламутровые пуговицы пальто, потом указательным пальцем правой руки смахнула пушинку с левого рукава, провела обеими руками по талии, еще раз оглядела себя в зеркало сбоку и отошла.

Фигура ее исчезла из зеркала и в тот же миг на стене снова очутилось мое старинное зеркало.

Сердце мое забилося в радостном волнении. Я понял, что она пошла ко мне и сейчас придет за мной, чтобы отправиться вместе погулять в Тиргартен. Мне давно хотелось этого, а в тот день было, вдобавок, чудесное, теплое весеннее утро.

Через четверть часа Андреа действительно явилась ко мне — в длинном сером пальто с перламутровыми пуговицами. Я подбежал к ней и, не давая ей расстегнуться, спросил:

— Вы сегодня в красной блузке с белым узором по шелку, — правда?

Мой возбужденный вид испугал ее.

— Почему вы это знаете? — спросила она, отшатнувшись.

— Я только что видел вас в вашей комнате перед белым зеркалом...

Я описал ей зеркало, которое я видел; это оказалось точным изображением ее туалетного зеркала. И все остальное, что я видел, оказалось верным.

Несколько секунд мы оба стояли молча, не в силах произнести ни слова — и потом на прогулке мы старались дер-

жаться шутивого тона, но это нам очень плохо удавалось.

Через несколько недель мы встретились с тобой на берегу моря.

Помнишь ли ты тот блаженный и злополучный вечер, когда мы в сумерки выехали втроем в море на лодке и она пела нам? Помнишь, как она любила воду, как могла целые часы просиживать с нами на берегу, глядя на волны, набегавшие на самые ноги ее, выше края ботинок? А как она рада была буре! Помнишь ее странную фантазию — уноситься на парусной лодке в открытое море именно в дождь и ветер, когда косые холодные струи дождя били в самое лицо... Как она принималась в такую погоду осаждать старика Стефенсена просьбами и ласками, чтобы он согласился покатать нас на своей лодке... А старик, широко осклабившись, нежно смотрел на ее пылавшее лицо и маленькие руки, придерживавшие шапочку и волосы, которые безжалостно трепал морской ветер... помнишь?

А тот раз — помнишь? — когда ей захотелось покататься одной на отдельной лодке... Она очень устала и, подплыв к нам, отдыхала, держась за весло Стефенсена. Ты хотел было перенести ее в нашу лодку, но она только посмеялась над нашей тревогой и, оттолкнувшись снова от нашей лодки, понеслась одна назад, махнув нам белой, совершенно одеревенелой от усталости и холода рукой. О, Андреа, Андреа!

И под тяжелой властью воспоминания он закрыл лицо обеими руками.

— Да, когда вся жизнь поставлена на *одну* карту... — мрачно проговорил Пиркгаммер.

— Такова была моя судьба.. Я играл на все свое счастье, на всю жизнь — и проиграл!

— Пойдем отсюда, Григорий... Довольно воспоминаний!.. — сказал Пиркгаммер, вытерев платком лоб, на котором сверкали крупные капли пота, — встал и взял под руку Головина.

— У тебя лихорадка? — спросил дорóгой Пиркгаммер, озабоченно заглядывая в лицо друга. — Да ты, кажется, не шути болен!

— Нет, уверяю тебя, я совершенно здоров! — ответил

Головин, нетерпеливо качая головой. — Выслушай меня только до конца. Я говорил о ее страсти к морю и о ее безрассудной смелости. Теперь я подхожу к самому ужасному... Но ты, вероятно, знаешь это?

— Что знаю? О чем ты хотел говорить?

— Неужели ты не понимаешь, о чем? О ее гибели!

После того, как наша крепкая душевная связь вдруг и сразу оборвалась, точно перерезанная... После того, как она внезапно покинула нас, и я почти целых два года прожил без всякой вести о ней... — теперь, здесь мне суждено было еще раз увидеть ее... здесь, в Риме! Но... *мертвой!*..

— Что? Что ты сказал? — как крик, вырвалось восклицание у Пиркгаммера, и он невольно схватил руку Головина. — Андреа ты видел... мертвой?... Андреа умерла, ты говоришь?!

— Возможно ли, что ты этого еще не знаешь? Ты ведь живешь среди людей, — не то, что я. Я в моем душевном состоянии не мог видеть ни души. Я ведь уже несколько месяцев здесь, но почти совершенно не выхожу из дома; по крайней мере, совершенно не бываю в театре, в музеях, в ресторанах — вообще, в тех местах, где можно встретить людей...

— Я все-таки не понимаю тебя, Григорий... Ты видел Андреа мертвой?!

— Да. На озере Неми.

Не обращая внимания на встречных прохожих, Головин остановился среди дороги и страдальческим движением крепко сжал голову руками. Глаза его наполнились слезами, — было видно, что он мучительно боролся, но не в силах был сдержать их.

— Там я еще раз увидел ее, там услышал в последний раз ее голос... — с усилием проговорил он.

— На озере Неми ты увидел ее? — снова все так же растерянно спросил Пиркгаммер, — но заметив, что прохожие замедлили шаг, искоса окидывая их любопытными взглядами, он торопливо увлек Головина в сторону от дороги.

Головин не противился и едва ли даже заметил, что они, по воле Пиркгаммера, свернули с дороги. Медленно и глу-

хо, как автомат, он повторил:

— Я видел ее на озере Неми. Последний час ее открылся мне.

— Да ты болен, Григорий! Неужели ты этого не понимаешь? — в ужасе воскликнул Пиркгаммер, тряся Головина за плечо. — Тебе являются призраки... это бред!

— Нет, не бред. Я видел ее последние минуты, — спокойно и настойчиво повторил еще раз Головин, но вдруг, под влиянием мелькнувшей мысли, взволнованно прибавил: — Зачем ты пытаешься щадить меня? Ты ведь, наверное, давно знал все! Не можешь же ты убедить меня, что не знаешь...

Пиркгаммер нервно повел плечом и, слегка отвернув голову, чтобы не встретиться взглядом с прямо устремленным на него взглядом друга, сказал:

— Клянусь тебе, что я не понимаю, о чем ты говоришь...

Рука Головина тяжело оперлась на руку Пиркгаммера и, снова опустив глаза, он заговорил по-прежнему раздельно и глухо:

— Андреа утонула. Я сидел на берегу озера и с удовольствием вдыхал струившуюся с него прохладу. Было так тихо и мирно кругом! Ни разу не шелохнулись ветви дубов, нависшие над ясной зеркальной гладью озера; только изредка доносилось жужжание насекомого или шорох ящерицы в траве. Такая тишина и красота! Я был один — с вечными, неотступными воспоминаниями об Андреа и с мучительной думой: неужели я больше не увижу ее никогда?..

Я не все сказал тебе еще... Должен сознаться, что я ношу в душе одну тяжелую вину перед Андреа... Однажды вечером, когда мы были на море одни, — не помню уже теперь, где ты был в тот вечер, — мы гуляли по берегу и забрели далеко-далеко, к тому месту, где дюны, осев полукругом, образуют крохотную природную гавань. Она остановилась, заглядевшись на прибой волн. И я вдруг почему-то потерял всякую власть над собой. Все, что долгие месяцы назревало и росло в сердце без исхода, все, что я собственными руками насильно душил и душил, но что было все же сильнее всех доводов разума и насилия воли, — все

это вдруг вырвалось наружу.

Я снова начал говорить ей о своей любви и о том, что так любить ее не будет никто и никогда, — она старалась остановить меня, но я не слушал и говорил свои страстные, несдержанные речи — и наконец, потерял голову до того, что силой... *силой* привлек ее к себе, обнял... ах, Франц... пытался против ее воли поцеловать ее в губы!..

Она вырвалась от меня и убежала. Через два дня я узнал, что она уехала.

Среди мирной красоты вечера, весь во власти воспоминаний, я беспощадно допрашивал себя об этом позорном поступке, — как вдруг услышал свое имя. Не как крик, а как тихий вздох. Это был голос Андреа. И когда я поднял глаза, — потрясенный испугом, но и со взрывом безумного восторга, — то я явственно увидел вдали словно выплывшее из водных глубин и прорезавшее полосу тумана — тело... ее тело, но безжизненное. Мертвое. Волны несли его. Волосы, украшенные странными цветами, разметались по волнам, поднимаясь и опускаясь с ними; глаза ее были закрыты, — а над ее расprostертым телом склонилась чья-то тяжелая тень. Мне показалось, я узнал эту тень; я узнал в этой тени — тебя.

— Меня?!

— Да. Франц, это был ты! Ты видишь, друг, я знаю все; к чему же тебе отрицать и таиться от меня? Ты знаешь, где и когда Андреа постигла смерть, — потому что ты присутствовал!

— Ты ошибаешься, Григорий...

— Тебе трудно облечь для меня в слова эту страшную весть?

— Клянусь тебе еще раз, что я ничего о ее смерти не знаю! И я убежден...

— Постой, не говори, — перебил его Головин, мягко коснувшись его плеча, — я знаю, что ты хочешь сказать. Но все это бесполезные слова. Ты не знаешь, как отчетливо и живо я видел эту страшную картину; она солгать не могла. Человек может обмануть, а сверхчувственное видение — никогда. Я слишком часто испытывал его несокрушимую правду.

Не замечая дороги пред собой, друзья медленным шагом шли все вперед и вперед, пока очутились на *Via San Teodoro* и направились вдоль нее к Форуму. Несколько шагов они прошли молча и в глубоком раздумье. У деревянной решетки, обнесенной вокруг окопов Форума, Пиркгаммер остановился и, обведя глазами остатки стен, сводов и колонн, усеянных яркими цветами, сказал:

— Посмотри, что здесь за красота теперь, — а как голо было тут прежде! Но эти тысячи цветов завершат дело разрушения, которое люди считают законченным. Корни будут продолжать эту работу, пока не разрыхлят землю вокруг последней мраморной глыбы и пока не рухнет, расшатанный, последний обломок колонны.

— Пусть! — сказал со скорбной улыбкой Головин. — В жизни расшатывается и рушится многое, что драгоценнее подобного камня.

Пиркгаммеру давно нужно было вернуться домой. Но он не мог решиться прервать рассказ Головина, да и оставить его одного в таком возбужденном состоянии. Теперь, воспользовавшись перерывом в разговоре и тем, что Головин был несколько спокойнее, он подозвал проезжавшую мимо карету, — краткий и негромкий возглас кучера «*una vettura*» свидетельствовал о том, что она свободна, — и, бросив быстрый взгляд на часы, сказал, протягивая руку Головину:

— Мне теперь пора, Григорий, — у меня сегодня одно неотложное свидание. Когда мы снова увидимся?

Головин долго пожимал, не выпуская, руку Пиркгаммера и только через несколько секунд сказал:

— Может быть, я могу зайти к тебе в ателье? Покажешь мне новые картины, над которыми ты теперь работаешь?

Пиркгаммер как-то неловко дернул головой и преувеличенно суетливо начал усаживаться в карету.

— Нет, Головин, теперь это будет неудобно... У меня там все в страшном беспорядке, оттого что я завтра уезжаю на две недели в Неаполь. Да и не хочется мне показывать тебе неоконченные работы... мы, художники, ты знаешь, тщеславный народ. Попозже я буду тебе очень рад. Но мы еще рань-

ше спишемся, где и когда свидимся в следующий раз. Прощай же пока — и возьми себя в руки, — гони от себя больные видения!

Головин неловко помахал шляпой вслед отъезжавшей карете и медленно побрел домой.

Ночью он долго ворочался в постели без сна, все еще взволнованный встречей с другом. Собственная исповедь всколыхнула со дна его души все пережитое и, оглянувшись на свое прошлое, сравнив себя с Францем Пиркгаммером, он еще глубже почувствовал всю свою непригодность, да и прямую непригодность к жизни.

«У Франца есть своя работа, — с завистью думал Головин, — свое место и свое дело в жизни, живая связь с людьми, признание многих; и прежде всего, ясная цель перед собой». А у него, прямого потомка «лишнего человека», все отпущенные Богом силы и способности растрачиваются зря, развеваются по ветру без пользы и радости, трагически бесплодно и безрадостно.

Утром он проснулся с таким сильным желанием посмотреть, какие успехи сделал Франц за последние два года, что тотчас же решил отправиться к нему в ателье, совершенно забыв о том, что Франц прямо просил его теперь не заходить туда.

Ателье Пиркгаммера помещалось неподалеку от **Porta del Popolo**, за городскими стенами, в новом доме, ярко освещенном отсветом вымощенной белым известняком мостовой улицы. Головин прошел через разбитый перед домом палисадник и поднялся на четвертый этаж в мастерскую художника.

На стук его никто не откликнулся, но дверь не была заперта, и он вошел. В ателье никого не было; стены были увешены картинами, многие стояли на полу, прислоненные к стенам; большой стол был завален эскизами; поверх полотенца, испещренного сотнями красочных пятен, лежала палитра. Запахом скипидара была пропитана вся комната, свет которой смягчали серые занавески, тоже перепачканные множеством разноцветных пятен.

Что он не застал Пиркгаммера, разочаровало его так си-

льно, что у него даже пропала охота рассматривать картины. Заложив руки в карманы, он бродил по обширной комнате, рассеянно оглядывая стены, как вдруг его внимание чем-то привлекло к себе большое полотно, повернутое лицевой стороной к стене и испещренное с изнанки множеством набросков углем, хаотически переплетенных между собой.

С некоторым любопытством, как будто в надежде найти в самой картине разгадку запутанных линий изнанки, Головин повернул полотно и задрожал всем телом.

Перед ним была вполне законченная картина, — портрет мертвой Андреа с распущенными волосами, с закрытыми глазами и с тихой улыбкой на губах.

Головин закрыл лицо руками.

Все, что промелькнуло перед ним тогда смутным видением, выступало теперь, ясное и страшное своей несомненной правдой. О, значит, чутье не обмануло его!.. Пиркгаммер знал, где она умерла, видел ее! Он не хотел сказать ему этого, желая уберечь его от открытия страшной правды... Вот почему он с таким волнением слушал его рассказ, — вот почему он просил его теперь не заходить к нему в ателье...

В левом углу картины желтела подпись, инициалы художника, и число 18.VIII. Восемнадцатого августа!.. В тот самый день, когда он видел на волнах озера Неми ее тело и слышал свое имя из ее уст, она где-то пала жертвой злой стихии...

Он не мог бы сказать, сколько времени он провел перед картиной, потрясенный ужасом и горем. Наконец, он усилием воли оторвался от нее, сел за письменный стол Франца и, вырвав листок из своей записной книжки, торопливо набросал несколько строк письма.

Он сознавался другу в своем вторжении в его ателье, просил его простить ему это, благодарил его за сердечное участие, за желание уберечь его от удара — и сообщал, что сегодня же покинет навсегда прекрасную Италию, которой суждено было стать могилой существа, которое он любил больше — о, безмерно больше — жизни.

«Что сказать тебе об огромной пустоте, заполнившей отныне всю мою душу? — закончил он свое письмо. — Я понял только одно, — что и в жизни человека бывает мертвая точка, и тот отмеченный судьбой, кто попадет на нее, напрасно будет пытаться и надеяться повернуть колесо машины обратно. Всем нам рано или поздно придется погрузиться во мрак, из которого мы вышли; не все ли мне равно, раньше или позже? Прощай».

Исписав листок, он положил его на подоконник и прижал сверху трубкой краски. Потом взял шляпу и направился к двери, но тотчас быстро и точно украдкой вернулся к картине, опустил перед ней на колени и прикоснулся губами к бледным губам полотна. Потом стремительно выбежал из комнаты, точно боясь, чтобы его здесь не увидели.

Вернувшись к себе в ателье через час после ухода Головина, Пиркгаммер еще на пороге заметил, что картина, написанная с Андреа, перевернута. Не снимая шляпы, он быстро повернул по-прежнему картину и направился к окну, удивленно и подозрительно оглядывая всю комнату. В это время он заметил на подоконнике листок, исписанный быстрым и неразборчивым почерком Головина.

Пиркгаммер долго стоял у окна, не в силах стряхнуть с себя тоскливого чувства, навеянного письмом Головина. «Какую странную и сложную душу дала природа этому бедному мученику жизни! — думал он. — Как было ему примирить свою болезненно-тонкую впечатлительность и экзальтированную мечтательность с протестом в собственной душе против этих непригодных для жизни свойств и с бесплодным стремлением освободиться от их цепей...

Больные ли видения привели к отчаянию душу, оказавшуюся бессильной бороться с недугом, или его погубила злополучная страсть, с которой у него не хватило ни сил, ни воли бороться, — не все ли равно, раз он попал на мертвую точку и сам сознал это, и дошел до равнодушия к тому, когда и как он кончит свои дни?

Кто может помочь ему теперь, какие силы могли бы вернуть его к жизни!..»

Пиркгаммер все еще стоял у окна в тоскливом и скорбном раздумье, когда дверь ателье снова открылась; молодая женщина сначала просунула в узкую полоску белокурую голову с улыбающимся лицом и затем быстро впорхнула. Пиркгаммер вздрогнул при первом звуке ее шагов, обернулся и протянул вошедшей исписанный Головиным листок.

— Прочти это, Андреа... — тихо сказал он.

Молодая женщина с тревогой заглянула в опечаленные глаза мужа.

— Что с тобой, Франц?.. Отчего ты такой?

— Прочти это, Андреа..

Андреа разгладила скомканный мужем листок и подняла на мужа испуганный и вопросительный взгляд.

— Да это почерк... Головина! — глухо проговорила она, прижав руку к сильно забившемуся сердцу.

— Да... Какая дикая случайность! В тот самый день, когда я писал с тебя умирающую Офелию и мы столько говорили о нем, не подозревая, что он так близко, — он видел тебя на озере Неми с цветами в волосах и с бледной улыбкой на губах... И в его больном — или только измученном — мозгу сложилось убеждение, что ты действительно умерла...

— Я и в самом деле умерла... для него... — прошептала молодая женщина.

— Как это все мучительно сложилось!.. Но мог ли я решиться сказать правду человеку с такой больной, больной, израненной душой!.. Я надеялся, что, если он так долго не будет видеть тебя и ничего не будет знать о нас, он выздоровеет, успокоится. Что гонит по свету эту одинокую, сиротливую душу?

— Призраки... — чуть слышно шепнула Андреа, уронив из рук исписанный листок.

Георг фон дер Габеленц

КОЛЬЦО

В маленьком обществе охотников царила та веселая непринужденность, при которой даже у самых неразговорчивых развязывается язык. Пили, ели, болтали, рассказывали диковинные случаи из области охоты и всевозможных видов спорта и в конце концов перешли, как водится, к самой загадочной из человеческих страстей — к любви.

Кто-то упомянул о случае, взволновавшем недавно все окрестное общество. Один из местных помещиков неожиданно развелся с своей молодой и красивой женой, с которой прожил необычайно счастливо несколько лет. Никто не знал причины, так как ни о серьезной размолвке, ни об измене или дуэли никто ничего не слышал.

Поговорили и даже горячо поспорили о разных вопросах брака и развода вообще. Кто-то высказал уверенность, что причины этого развода так и останутся невыясненными. Один из собеседников возразил:

— Ничего нет на свете такого, чего нельзя было бы выяснить, если только дать себе труд заглянуть за кулисы. А в вопросах любви и верности даже и не может быть ничего необъяснимого.

— Вздор, господа! — неожиданно вмешался старый генерал Гольберг. — Держу пари, что в пятидесяти случаях из ста действительная сущность остается для нас невыясненной. Да и как понять, например, нам, холостякам, всю сложность брака и тысячи ничтожных, на первый взгляд, мелочей, способных, тем не менее, разрушить супружеское счастье? Ведь никому из нас не приходилось испытать совместной жизни с женщиной — существом совершенно иного склада и нрава — с утра до вечера, целые месяцы и годы.

— Как «никому», генерал? А вам самому? — спросил фон Вальсберг, указав глазами на правую руку генерала.

— Почему же вы думаете, что я... Ах, вот вы о чем... Вы имели в виду мое кольцо? Ну, это дело совсем особое... Я никогда не снимаю его, но женат я все же не был никогда.

— Зачем же вы носите обручальное кольцо?

Генерал Гольберг, обычно живой и экспансивный, медленно поднял руку и несколько секунд молча и серьезно рассматривал кольцо.

— Ни с кем я не обменивался кольцами пред алтарем, — сказал он наконец, — и все же это кольцо связало меня на всю жизнь. Не знаю хорошенько, господа, как это назвать. Быть может, я — больше чем обручен и больше чем женат.

Все с любопытством переглянулись и с выражением вопроса и ожидания обернулись к генералу.

— Назовите это помолвкой, если угодно, — улыбнулся генерал, видя общее недоумение. — Только существа, с которым я помолвлен, я никогда не знал и даже не видел ни разу живым.

Почти целые полвека владеет моей душой эта история. Охватите-ка это!

Тот день внушил мне такое смирение и даже страх перед неуловимыми тайнами природы, что перед ним потускнели даже кровавые ужасы войны. В сущности, я до сих пор не оправился от пережитого тогда потрясения. И до сих пор, если мне случается столкнуться в тумане или в темной чаще леса с фигурой, которую я не сразу могу узнать или разглядеть, — я содрогаюсь, думая, что это она... та, от которой у меня это кольцо.

Смейтесь на здоровье, господа! В том счастливом возрасте, в котором теперь большинство из вас, я тоже посмеялся бы, если бы услышал что-нибудь подобное от старого солдата. Но со временем и вы поймете, что с появлением седых волос перестают разыгрывать героя даже перед красивыми женщинами.

Храбрость ведь вообще, если говорить правду, вопрос обстановки и личного настроения духа в каждую данную минуту. Есть вещи, над которыми очень легко смеяться за бокалом шампанского, в шумном обществе, при свете солнца или в ярком освещении зала; но во мраке и одиночестве леса, когда буря воеет и треплет верхушки деревьев, — или в тиши старого дома, где голые стены жутко отражают каждый звук и изо всех углов пахнет тлением — смех уже немножко застревает в горле.

Был 1866 год. Я был уже ротмистром и за несколько дней до того мы поколотили итальянцев при Кустоцце. Все мы до последнего солдата дышали упоением торжества, как

только можно ликовать и гордиться после победы над войском почти вдвое сильнее своего.

Мы чувствовали себя властелинами и хотели, чтобы это признавалось всеми, а между тем, со стороны населения мы то и дело наталкивались на упрямое сопротивление. Когда было разбито войско Виктора Эммануила, крестьяне оверели совсем; их вероломные нападения до того разъяряли наших ребят, что они начали отплачивать им крайней беспощадностью, не разбирая даже, кто виноватые, мужчины или женщины.

Так обстояли дела, когда я однажды получил приказ отправиться в небольшое поместье Гуастала и занять его: там население обстреливало наш провиантский отряд — и, по-видимому, маркиз Гуастала играл в этом нападении руководящую роль; по донесению драгун, из окон его замка открыт был первый и самый сильный огонь.

С гордой уверенностью в победе отправились мы в путь; день был томительно жаркий, — ни облачка, ни ветерка, и если бы мы не подкреплялись иногда теплой водой из придорожного ручья, мы изнемогли бы за дорогу. От местных жителей мы не принимали ни глотка вина из опасения, что нам могли бы подсыпать яда.

Возможно, что это было вздорное опасение; но война сильно изменяет психику, и наряду с легкомысленным, почти равнодушным отношением к смерти, она порождает нервную мнительность и подозрительность.

Солнце уже садилось, когда мы добрались, наконец, до Гуасталы. Над крестьянскими домишками и садами высился замок маркиза Гуасталы, — небольшой и старый барский дом, каких множество во всех концах Италии. Ставни заколочены, — видно, в доме никого не осталось.

Деревня тоже словно вымерла вся; нигде не слышно было ни крика петуха, ни лая собаки. Но нам не понравилась тишина; во время войны такие вещи всегда подозрительны.

И мы не ошиблись. Едва мои ребята показались на расстоянии выстрела, — раздался блеск и треск из-за десятков плетней и оград. Мы думали, что негодяи, по обыкнове-

нию, погеройствуют и спрячутся тотчас по углам; но на этот раз они обнаружили такую стойкость и упорство, что несомненно, за ними должна была скрываться чья-то очень твердая, смелая и опытная рука.

Конечно, вся их храбрость и стойкость все же ни к чему не привели: с наступлением сумерек деревня была наша, Защитники были разбиты; многие попадали убитыми или ранеными, остальные разбежались. Но и среди моих ребят оказались убитые и раненые; раненых перенесли в одну из комнат замка и занялись перевязыванием их ран.

Расставив стражу и часовых, я отпустил товарища-поручика с несколькими добровольцами в погоню за бежавшими, а сам устроился кое-как во втором этаже замка.

Во всех комнатах был полный беспорядок; мебель, зеркала, портьеры были свалены как попало, — как будто замок только собирались обставлять и не успели кончить. Ни души прислуги тоже не было во всем доме. В деревне я никого из людей не оставил и ради безопасности разместил всех в нижнем этаже замка.

Только что все, подкрепившись, расположились на ночлег, прискакал мой поручик. Оказалось, что под покровом темноты большинству беглецов удалось скрыться, но двоих он все же привел и предлагал мне угадать, кого.

— Неужели самого маркиза? — спросил я.

— Его самого, — предводителя бунта!

Совещались мы недолго. Законы войны чрезвычайно просты и ясны. Раз не солдат поднимает оружие, ему смерти не миновать; тут нечего разъяснять и ничего нельзя изменить. И я приказал повесить на первом же дереве маркиза Гуасталу и схваченного вместе с ним крестьянина.

Мой товарищ отправился, чтобы присутствовать при исполнении приговора...

Я остался один. Денщик мой принес две зажженных лампы; я вынул письменные принадлежности и приготовился писать донесение начальству; но прежде чем засесть за эту работу, по привычке зашагал по комнате, расстегнув сюртук, чтобы лучше собраться с мыслями и припомнить все события минувшего дня.

Одно окно было открыто и через него так соблазнительно тянуло из сада прохладой и ароматами сена и цветов, — что я решил разрешить себе недолгий отдых, высухнуть в окно и подышать свежим воздухом.

После шумного и беспокойного дня душе так отраднa была эта мирная, почти торжественная тишина, что я упиwался ею всем существом, забыв на время обо всем. Но вдруг мне вспомнился тот молодой человек, которого сейчас ожидает казнь в каком-нибудь углу этого же сада...

Угрызений совести я не чувствовал, — ведь это было мое право и мой долг; но все же мне было бы приятнее не быть в эту ночь — до некоторой степени — гостем маркиза и не отдыхать, любuясь именно на его сад...

От этой неотвязной мысли я разнервничался до того, что мне вскоре начала чудиться на каждом дереве висящая фигура. Назло себе самому, я начал насвистывать какой-то веселый вальс, — как вдруг...

Сорок лет прошло, — а я до сих пор не могу без волнения вспомнить о том странном и непостижимом, что мне пришлось тогда пережить...

Продолжая стоять у окна, спиной к комнате, я вдруг услышал за собой какой-то глухой звук, точно от падения на пол чего-то мягкого и тяжелого.

Быстро обернувшись, я увидел, что я не один в комнате... На каменных плитах пола передо мной стояла на коленях дама...

Знакомо вам это чувство? — вы уверены и готовы приcягнуть, что вы один в комнате — и вдруг за вами оказывается кто-то, точно из-под земли вырос... Хотя бы это было самое безобидное существо, вы невольно вздрогнете в первое мгновение. Примите во внимание, вдобавок, всю исключительность положения и обстановки, в которой мы себя чувствовали в этой местности, в этом доме и в эту ночь, — и вы поймете, как я оторопел.

Кто она, прежде всего? И как она могла попасть в замок без ведома моих часовых? А если она здесь и жила, то как она могла скрываться до сих пор от моих людей?

Как тень, проскользнула беззвучно, — ни скрипа дверей

я не слышал, ни звука шагов...

Мы молча смотрели друг на друга; я все ждал, что она заговорит, но она только безмолвно протянула руки ко мне. Губы ее шевелились, но не могли произнести ни слова. Только глубокий, тяжелый вздох вырвался из ее груди и глаза медленно наполнились слезами.

— Что вам угодно от меня? — спросил я, наконец.

Она не отвечала. О чем-то только без слов молили ее протянутые руки и поднятое ко мне лицо.

Не сумею я описать вам это лицо. Никогда, ни до того, ни после, не встречал я такой совершенной, такой чарующей женской красоты. Ну, а когда несколько месяцев проживешь на войне и имеешь дело только с грубыми, одичалыми мужчинами, — сердце, понятно, вдвое сильнее забьется при виде красивой женщины.

Только тут было не до восторгов, — ужас заслонял все очарование красоты.

Лицо молодой женщины было страшно, неестественно бледно, почти прозрачно. Но я почти не замечал этого, за гипнотизированный взглядом ее больших черных глаз с черными ресницами. Глаза эти впились в меня и застыли в такой оцепенелой неподвижности, как будто они принадлежали не живому существу, а автомату.

Но ведь были же в ней и жизнь, и чувство: текли же слезы по ее бледным щекам!

Я просил ее встать с колен, спросил еще раз, что ей угодно, но она только умоляюще сложила руки. Тогда я нагнулся, чтобы поднять ее, но она отстранила меня правой рукой. Я заметил изящную, узкую женскую руку с обручальным кольцом на пальце. Той же рукой она схватилась за грудь, и капли крови потекли из-под ее пальцев...

Не знаю сам, почему, — но меня охватил непобедимый страх перед этой странной женщиной. Ее взгляд так завораживал меня, что я не решался даже позвать денщика. Я стоял, как прикованный, прислонившись к простенку, и смотрел, как текут слезы по ее щекам и красные капли крови из-под сжимавших грудь рук на светлые плиты пола.

— Не убивайте его! — прошептали вдруг ее губы.

Но я хотел остаться тверд; бабьим слезам я не мог поддаться даже на этот раз. Я ответил, что это не от меня зависит, что перед законами войны бессильна моя личная воля.

Не могу я рассказать вам, что я испытал в эти ужасные минуты. Это было смешанное чувство ужаса и боли. Я был уверен, что бедняжка помешалась от страха и горя.

Наконец, мне удалось стряхнуть с себя малодушие. Солдатское воспитание возмутилось во мне, и я строго и резко приказал ей встать.

— Встаньте! Ваши просьбы напрасны.

Глаза ее снова впились в мои.

— Не убивайте его! — прозвучало еще раз, но уже тоном угрозы.

Отчего я не выбежал и не отменил свой приказ!..

В тщеславном желании показаться сильным и непреклонным, я небрежно проронил:

— Маркиз обречен и минуты его сочтены.

Расслышала ли она мой ответ? Огромные глаза ее вдруг расширились еще больше и с выражением ужаса впились мимо меня в ночной мрак за окном. Вмиг она вскочила с колен, протянула руки с судорожно растопыренными пальцами к потолку и из груди ее вырвался крик... пронзительный, дикий, ужасный...

В уме моем, как молния, пронеслась мысль: ей виден умирающий маркиз!

Меня охватило беспредельное сострадание к несчастной. Я готов был упасть перед ней на колени, молить ее о прощении за смерть маркиза, просить ее побереечь себя, не забывать о своей ране... Но я не мог сделать ни одного движения, ни один звук не выходил из горла. Как будто ее крик, ледянящий кровь и мозг, задушил навсегда мой голос.

Она притихла, как будто сгорбилась, и беззвучным шагом подошла поближе ко мне. Глаза ее упорно впивались в меня странно-загадочным взглядом, как будто в душе ее из безграничного отчаяния нарождалось что-то новое, враждебное, — какая-то глубокая, непримиримая злоба.

Подойдя так близко ко мне, что я чувствовал на своем лице ее дыхание, она подняла руку, сняла с пальца золотое

кольцо и сказала:

— Дайте вашу руку.

Я повиновался. Кто решился бы послушаться?

Она взяла мою руку и надела мне на палец кольцо.

— Носите его вечно!..

Зачем это она? И что мне делать с этим кольцом? хотелось мне спросить... Но она уже проскользнула к двери, открыла ее и исчезла.

Не знаю, долго ли я еще стоял, прислонившись к окну после исчезновения незнакомки; знаю только, что я был как бы слегка парализован, и это ощущение прошло не сразу, а постепенно, как тяжелый сон.

Когда способность движения вернулась ко мне, я начал ощупывать себя, царапать себя ногтями... мне надо было убедиться, спал ли я и видел сон, была ли это действительность или галлюцинация. И я увидел и нащупал кольцо на пальце!

Скорее вон его... в окно!

Я начал стаскивать кольцо с пальца — напрасно! Оно точно приросло к коже.

Безмерный ужас охватил меня. Что же это такое? Кто же она, эта незнакомка, с которой меня связало это кольцо? Она одна может объяснить это — скорее же броситься по ее следам, разыскать ее, заставить ее раскрыть загадку!..

Я схватил лампу со стола и выбежал в ту дверь, за которой она исчезла. Я осмотрел коридор, лестницу, все углы, все щели... — нигде ни следа, ни звука шагов или шелеста платья, — только мерное храпение моих солдат доносилось из всех комнат нижнего этажа.

Наружные двери замка были заперты; я торопливо отпер их и выскочил, но с первых же шагов натолкнулся на товарища, возвращавшегося из сада с несколькими солдатами. Я понял, что значат их серьезные, бледные лица, но все же схватил товарища за руку и, едва шевеля губами, спросил:

— Кончено? Казнены?

Едва уловив чуть слышное «да», я бросился к первому часовому за оградой с вопросом, куда направилась вышед-

шая из замка молодая женщина, — но часовой только изумленно повторил мой вопрос; из замка никто не выходил и не мог выйти.

Значит, незнакомка еще в замке! Надо все поставить на ноги и разыскать ее! Товарищ со своими солдатами не успел еще расположиться на отдых; я созвал их, усталых и измученных, и все мы, с лампами и фонарями в руках, бросились осматривать все углы и закоулки обеих этажей, чердаков и погребов. Нигде не было ни следа незнакомки, никто не слышал даже ее безумного, пронзительного крика...

Товарищ, не пришпориваемый охотничьей лихорадкой, в которой весь горел я, и усталый до последней степени, начинал уже раздражаться и, наконец, выразил предположение, что я все это видел во сне...

Я вышел из себя. Во сне?! Но он сам может видеть свежие пятна крови на полу! И я потащил скептика к себе в комнату и с лампой в руках подвел его к тому месту, где она стояла...

Я ползал на коленях по всему полу, рассматривал и ощупывал каждый вершок... нигде не было и следа крови! Но, Боже праведный, я сам видел, как текла кровь у нее из груди и падала жуткими красными каплями на светлые плиты! Или я в самом деле все это видел во сне? Или я помешался? Но тогда как же кольцо, которое она дала мне? Оно плотно сидело на пальце — такое несомненное, такое конкретное!..

Я рассказал все товарищу. Ярость кипела у меня в груди при виде того, как он покачивал головой, украдкой оглядывая меня подозрительным и озабоченным взглядом, — а я ничего не мог сделать, чтобы убедить его, что я не брежу и голова моя совершенно свежа.

Вероятно, для того, чтобы не раздражать меня, товарищ все же продолжал осматривать комнату и вдруг за нагроможденной в одном углу мебелью наткнулся на картину, прислоненную лицевой стороной к стене.

Невероятным усилием воли я сдержал готовый вырваться крик: передо мной был портрет незнакомки... Ее глаза, ее волосы, губы — вся она, как живая!

Я начал просить товарища уйти к себе и оставить меня одного. Чего еще искать? Во веки веков никто ничего не найдет! Товарищ неохотно уступил, я остался один и всю ночь просидел пред портретом.

Утром, едва хорошо рассвело, товарищ вошел ко мне — с тем же участливо-озабоченным, почти сострадательным выражением лица, но заговорил он умышленно о другом. Меня это так раздражило, что я первым завел разговор о событии минувшей ночи. Он отвечал уступчиво, это раздражало меня еще сильнее, и мы уже готовы были поссориться не шутя, — как вдруг вошел денщик с докладом, что местный священник желает видеть меня, но по некоторым серьезным соображениям просит меня для этого к себе.

Я подумал, что от него мне, быть может, удастся узнать что-нибудь о незнакомке, и тотчас же последовал за старухой, передавшей мне просьбу священника.

Расстояние оказалось порядочное, так как священник жил в противоположном конце деревни, в маленьком домике, наружно почти ничем не отличавшемся от крестьянских домишек. Унылый вид имела большая деревенская улица с явственными еще следами вчерашней схватки...

Войдя вслед за старухой в полутемные сени, я столкнулся лицом к лицу со стариком-священником, видимо, нетерпеливо поджидавшим меня.

Я поздоровался. Не удостоив меня ответом, он толкнул боковую дверь и одним движением руки пригласил меня войти; спутница моя куда-то юркнула, и я вошел один, нагнув голову, через низенькую дверь. Вошел, оглядел комнату — и с невольным криком отшатнулся, схватив за руку священника.

Предо мной на измятой постели лежала *она* — смертельно-бледная, неподвижная, одетая в платье со следами крови на груди.

— Кто это? — едва шевеля сухими губами, спросил я священника.

— Все равно... теперь уже поздно! — беззвучно ответил священник, окидывая меня мрачным взглядом. — Вчера вечером... она звала вас, металась, кричала...

— Вчера вечером она ведь была у меня, — пояснил я. — Но, ради самого Бога, кто она?

Я подошел поближе к постели и с чувством глубокого сострадания всматривался в окаменелое, мертвое, но все еще дивно, прекрасное лицо.

Священник тоже быстро подошел поближе.

— У вас? — воскликнул он. — Грация Сантазилия была у вас, там в замке? Она геройски, самоотверженно, ни на мгновение не покидала сражающихся, все время поддерживая мужество в них, пока сама не упала, сраженная пулей. Смертельно раненной ее принесли ко мне в дом, сам маркиз передал ее на мое попечение. А когда затем пришла весть, что он схвачен и станет жертвой законов военного времени, раненая молила отнести ее к вам, к вашим ногам. Это было невозможно, она была в жару, в бреду; а отчаиваться в возможности ее спасения мы не имели права, — молодой организм мог еще справиться с тяжелой раной... И я уверен, она выжила бы, выздоровела бы, если бы... если бы час спустя ей не принесли весть о его смерти...

Ноги у меня подкашивались, вся комната колыхалась перед моими глазами, — я вынужден был схватиться за спинку стула, чтобы не упасть.

— Но ведь она была у меня! — с тоской вырвалось у меня. — Я видел ее, говорил с ней... вот это кольцо она дала мне! Это ее кольцо!

Священник всматривался с секунду в кольцо на моем пальце, потом сухо и злобно усмехнулся.

— Я вас не понимаю. Ну да, у вас ее кольцо... его кольцо, которое он, покойный, подарил ей в день обручения... Она могла обронить его с пальца... Вы-то что хотите этим сказать или доказать? Грация Сантазилия не покидала этого ложа с того момента, как ваше появление в деревне подкосило ее молодую героическую жизнь.

.

По окончании похода я провел несколько месяцев в отпуске, в путешествиях. На военной службе я оставался еще много лет. Но ту ночь в замке я не забыл и не забуду.

Образ несчастной преследует меня всю жизнь. До сих пор я часто-часто слышу ее последний, отчаянный крик. Я слышу его и ночью, и днем, сквозь барабанный бой и звон оружия, сквозь шум многолюдных улиц и мерный грохот железнодорожного поезда и в мирной ночной тишине. Среди смеха и говора веселой толпы, среди собственного смеха я часто слышу, холодея, этот пронзительный, безумный крик.

Вы скажете: это глупо, — надо было забросить кольцо и с ним сбросить с себя весь этот кошмар.

Нет, господа, с этим кольцом я не расставался и не расстанусь никогда. Прекрасная и несчастная женщина навеки приковала меня к себе тем, что от века тревожит и пленяет нашу душу, во что мы слепо верим в детстве, что мы страстно стремимся постигнуть в зрелом возрасте и во что все мы современем погрузимся: она приковала меня властью и обаянием *тайны*.

Артур Шницлер

РЕДЕГОНДА

Вчера ночью, когда я, по дороге домой, присел на минутку на скамейку в Штадтпарке, я увидел вдруг на другом конце этой скамейки какого-то господина, присутствия которого я сперва не заметил. Так как в этот поздний час в парке не было недостатка в пустых скамейках, то появление этого ночного соседа показалось мне несколько подозрительным, и я уже собирался встать, как вдруг незнакомец, который был в сером пальто и желтых перчатках, снял шляпу, назвал меня по имени и поздоровался со мной. Тут только я узнал его и приятно удивился. Это был доктор Готфрид Вевальд, молодой человек с хорошими, даже, до известной степени, благородными манерами, которые ему, по крайней мере, доставляли, по-видимому, большое удовлетворение. Года четыре тому назад он был переведен из канцелярии венского штатгальтера в маленький городок нижней Австрии, но, от времени до времени, продолжал появляться в кафе, где собирались его друзья, и все приветствовали всегда с удовольствием появление его изящной, приятной фигуры. Ввиду всего этого, я счел своим долгом, хотя мы с Рождества и не виделись, не обнаруживать никакого удивления по поводу этой странной встречи в необычный час, в необычном месте. Я сдержанно, но вежливо ответил на его приветствие и готовился уже вступить с ним в разговор, как подобает людям общества, которых не может удивить даже случайная встреча где-нибудь в Австралии. Но он жестом руки отклонил мое намерение и сказал:

— Простите, уважаемый друг, в моем распоряжении — ограниченное время, и явился я сюда только затем, чтобы рассказать вам довольно странную историю, конечно, при том условии, что вы согласны будете ее выслушать.

Удивленный этим вступлением, я поспешил заявить, что, разумеется, готов слушать, но не мог удержаться, чтобы не спросить, почему доктор Вевальд не разыскал меня в нашем кафе, затем, каким образом ему пришло в голову, что он может найти меня именно здесь, в Штадтпарке, и, наконец, почему именно на мою долю выпала честь выслушать его историю.

— Ответ на два первых вопроса, — сказал он с необыч-

ной для него сухостью в тоне, — вы получите, выслушав мой рассказ. Что касается причины, почему мой выбор пал именно на вас, уважаемый друг (так уж, очевидно, он решил называть меня), то она заключается в том, что вы, насколько я знаю, занимаетесь также и литературой, и я могу поэтому рассчитывать на опубликование вами моей удивительной истории, с придачей ей, конечно, соответствующей интересной формы.

Я скромно отклонил от себя этот комплимент, вслед за чем доктор Вевальд, сделав странную гримасу носом, начал без дальнейших предисловий:

— Героиню моего рассказа звали Редегондой. Она была женой ротмистра, барона Т., офицера расположенного в городке Ц. драгунского полка. (Он на самом деле назвал только начальные буквы, хотя по причинам, которые ниже выяснятся; я узнал не только название городка, но и фамилию ротмистра и номер его полка). Редегонда, — продолжал доктор Вевальд, — была женщиной необыкновенной красоты, и я влюбился в нее, как говорят, с первого взгляда. К сожалению, я лишен был всякой возможности быть представленным ей, так как офицеры держались почти совершенно в стороне от остального общества, не делая исключения даже для нас, принадлежавших в местной администрации, и относясь к нам даже с каким-то оскорбительным высокомерием. Поэтому я видел Редегонду всегда только издали, одну или вместе с супругом, нередко в обществе других офицеров и офицерских дам. Большею частью это было на улице, но иногда мне удавалось видеть ее у окон ее квартиры, выходявшей на главную площадь, или же вечером в карете, отвозившей ее в наш маленький театр, куда отправлялся и я. Здесь я следил за ней из партера, когда она уделяла внимание представлению или, в антрактах, беседовала с молодыми офицерами, окружавшими ее в ложе. Иногда мне казалось, что она удостоивает меня своим вниманием. Но ее взгляды скользили по мне всегда так мимолетно, что из них ничего невозможно было вывести. Уже я потерял всякую надежду повергнуть когда бы то ни было к стопам ее мое обожание, когда однажды, в чудное осеннее

утро, совершенно неожиданно встретился с ней в роще, начинавшейся у городских ворот. Она прошла мимо меня с едва заметной улыбкой, может быть, совсем и не заметив меня, и скоро скрылась за пожелтевшим кустарником. Я дал ей пройти, не сообразив даже, что мне представляется случай поклониться ей или даже обратиться к ней с каким-нибудь словом. Даже когда она скрылась, я не думал раскаиваться в том, что упустил случай, не суливший мне никакого успеха. Но тут со мной сделалось нечто странное: у меня вдруг явилась непреодолимая потребность представить себе, что произошло бы, если бы у меня хватило смелости остановить ее и заговорить с ней. И фантазия рисовала мне, что Редегонда не только не рассердилась на меня, а, напротив, моя смелость доставила ей, по-видимому, удовольствие. Далее, что в оживленной беседе, завязавшейся между нами, она начала жаловаться на пустоту своего существования, на мелочность общества, в котором онаращается, и, наконец, выразила свою радость по поводу того, что нашла в моем лице понимающего ее и сочувствующего человека. Взгляд, который она кинула мне на прощание, был — в моем воображении — так красноречив, что, увидев ее вечером в ложе, я почувствовал себя так, как будто то нас связывает чудная, недостижимая для других тайна. Вы не удивитесь, уважаемый друг, что, убедившись таким образом в необыкновенной силе своего воображения, я постарался о том, чтобы за первой встречей последовала вторая. От одного свидания к другому наши отношения становились все дружественнее, интимнее, пока, наконец, в один прекрасный день обожаемая женщина, сидя рядом со мной под деревом, не упала в мои объятия.

Я давал все больше и больше разыгрываться моему счастливому, блаженному безумию и дождался, наконец, того, что Редегонда явилась однажды в мою квартиру, находившуюся в конце города, и подарила меня таким блаженством, какого жалкая действительность никогда еще не представляла на мою долю. Не было недостатка и в опасностях, но они усугубляли прелесть наших приключений. Так, однажды зимой случилось, что, когда мы ночью катили за

городом в санях, закутанные в шубы, мимо нас проскакал ее муж. И уже в ту минуту в моем мозгу пронеслось то роковое событие, которому суждено было вскоре обрушиться на меня всей тяжестью.

С наступлением весны в городе сделалось известным, что драгунский полк, в котором служил муж Редегонды, переводится в Галицию. Мое, нет — наше отчаяние было безгранично. Мы перебрали все темы, которые приходят в голову влюбленным при таких необыкновенных обстоятельствах: совместное бегство, совместная смерть, мучительная покорность неизбежной судьбе. Но наступил последний вечер, а мы еще ни на чем окончательно не остановились. В квартире своей, убранной розами, я ожидал Редегонду, подготовившись ко всевозможным случайностям; чемодан мой был уложен, револьвер заряжен и прощальные письма заадресованы. Все, что я вам рассказываю, уважаемый друг, — сушая правда. Я был настолько под властью своего безумия, что в тот вечер, последний перед выходом полка из города, не только представлял себе возможность появления в моей квартире любимой женщины, но с уверенностью ждал ее. В этот раз мне никак не удавалось, как бывало не раз, привлечь к себе возлюбленную силой воображения и заключить ее, неземную, в свои объятия. У меня было такое ощущение, как будто что-то непредвиденное, может быть, ужасное, задерживает ее дома. Сотни раз я подходил к двери, прислушивался к шагам на лестнице, глядел из окна, надеясь увидеть Редегонду на улице, у ворот. В своем нетерпении я был близок к тому, чтобы помчаться в дом Редегонды и насильно вырвать ее из рук мужа на правах любящего и любимого. Это продолжалось до тех пор, пока, наконец, я не упал в изнеможении на диван, трясясь, как в лихорадке. Но тут вдруг, — дело было близко к полночи, — раздался звонок. Я почувствовал, что сердце у меня перестало биться. Потому что, — вы понимаете, — звонок этот уже не был делом моего воображения. Он раздался во второй, в третий раз и своим резким звуком окончательно вернул меня к действительности. Но в эту минуту, когда я пришел, наконец, к сознанию, что все мое приключение, вплоть до

этой ночи, представляет собой только ряд грез, — как раз в эту минуту я воспылал самой смелой надеждой, что Редегонда, потрясенная до глубины души силой моих желаний и привлеченная силой моей любви, стоит у моего порога и что в ближайшую минуту она, в реальном образе, будет в моих объятиях. С этой сладостной надеждой я открыл дверь и увидел перед собой не Редегонду, а ее мужа. Это был он, и я его видел так ясно, как вижу вас сейчас на этой скамье. Он стоял передо мной и пристально на меня глядел.

Конечно, мне ничего больше не оставалось, как пригласить его в комнату и предложить стул. Он отказался, однако, сесть и, с насмешкой ненависти на лице, сказал:

— Вы ждете Редегонду? К сожалению, она не может явиться, потому что она умерла.

— Умерла?! — воскликнул я, и у меня помутилось в глазах.

Барон продолжал:

— Час тому назад я застал ее за письменным столом. Перед ней лежала эта тетрадка, которую я, для упрощения дела, принес сюда. Вероятно, она умерла от испуга, когда я неожиданно вошел в ее комнату. Вот здесь последние написанные ею строки. Читайте.

Он подал мне тетрадку в лиловом кожаном переплете, и на раскрытой странице я прочел:

«Оставляю свой дом навсегда. Возлюбленный ждет».

Я кивнул головой в знак того, что ознакомился с содержанием.

— Вы, конечно, догадываетесь, — продолжал барон, — что в руках у вас — дневник Редегонды. Может быть, вы будете так добры пробежать его для того, чтобы понять, что отрицать факты бесполезно?

Я уселся и начал не пробежать дневник, а читать его. Я углубился в чтение и просидел за письменным столом около часа, между тем как ротмистр поместился на диване и ждал, не двигаясь. В дневнике Редегонды я нашел всю историю нашей любви, нашел эту чудесную, великолепную историю во всех ее подробностях. Там описывались и то осеннее утро, когда я в первый раз заговорил с Редегондой, и

наш первый поцелуй, и наши прогулки, и наши поездки за город, и часы нашего блаженства в моей убранной цветами квартирке, и наши планы бегства и самоубийства, и наше счастье, и наше отчаяние. Все было на этих листках, все, чего не было в действительности, но что я пережил в своем воображении, и все это я нашел вовсе не таким странным, не таким непонятным, как, вероятно, вы, уважаемый друг, в эту минуту находите. Я понял, что Редегонда так же любила меня, как я ее и, что, в силу этого, ее фантазия пережила совершенно то же, что и моя. И так как она, как женщина, была ближе к первоисточникам жизни, где желание и выполнение составляют одно, то она, вероятно, искренне была убеждена, что все, написанное в фиолетовой книжке, действительно ею пережито. Но у меня явилось еще и другое предположение, а именно, что этот дневник представлял собой ни больше ни меньше, как тонкое мщение мне за мою нерешительность, помешавшую осуществиться нашим мечтам. Дальше, что ее внезапная смерть была делом ее воли, и что она намерению устроила так, чтобы предательский дневник попал в руки обманутого мужа. Но у меня не было времени заниматься дальнейшим развитием этих догадок. Ведь все равно для ротмистра тут не могло быть никаких иных объяснений. Я покорился обстоятельствам и в тех выражениях, которые обыкновенно в таких случаях приняты, заявил, что я — к его услугам.

— Не сделав даже попытки?..

— Отречься от всего? — резко прервал меня доктор Вевальд. — О, если бы такая попытка могла иметь хотя бы малейший шанс на успех, то я и тогда счел бы ее недостойной себя. Потому что я чувствовал себя, во всяком случае, ответственным за все последствия романа, который я, если не пережил в действительности, то исключительно потому, что оказался трусом.

— Я имею причины желать, — сказал барон, — чтобы дело наше было покончено раньше, чем делается известным о смерти Редегонды. Теперь — час ночи. В три часа сойдутся наши секунданты, а в пять часов должна состояться встреча.

Опять я кивнул головой в знак согласия. Ротмистр, холодно поклонившись, удалился. Я привел в порядок бумаги, вышел из дома, разбудил и вытащил из постелей двух сослуживцев (один из них — граф), посвятил их в самые необходимые подробности, сообразно которым они должны были действовать, а затем отправился на главную площадь и стал ходить взад и вперед мимо темных окон, за которыми находился труп Редегонды. При этом у меня было чувство уверенности, что я иду навстречу велению судьбы. В пять часов утра я и ротмистр стояли друг против друга, с пистолетами в руках, на том самом месте в роще, где я впервые мог бы заговорить с Редегондой.

— И вы убили его?

— Нет. Пуля моя прошла как раз возле его виска. Но зато его пуля попала мне прямо в сердце. Я, как принято выражаться, был убит на месте.

— О-о! — растерянно воскликнул я, поднимая голову и бросая тревожный взгляд на странного собеседника. Но его уже не было на скамье. Доктор Вевальд исчез. У меня есть основание думать, что он совсем и не беседовал со мной. Но зато я вспомнил, что вечером, в кафе, было много разговоров о дуэли, на которой друг наш, доктор Вевальд, был убит ротмистром Тейергеймом. То обстоятельство, что жена его, Редегонда, в тот же день исчезла с молодым лейтенантом того же полка, послужило для нашей маленькой компании, при всей серьезности настроения, поводом для шуток, и кто-то высказал предположение, что доктор Вевальд, которого мы всегда знали, как образец корректности, скромности и благородства, принял смерть за другого, более счастливого, отчасти по доброй воле, отчасти против воли, и, вообще, вполне в присутствии ему «стиле».

Что касается явления Вевальда на скамье Штадтпарка, то оно, конечно, значительно выиграло бы оно в интересе, если бы оно предстало мне до рыцарской кончины доктора. Не хочу скрывать, что сначала я недалеко был от мысли усилить эффект моего рассказа этим совершенно незначительным перемещением. Но после некоторого размышления я удержался от этого ввиду возможного упрека, что таким,

не совсем отвечающим действительности, изложением сыграв на руку мистицизму, спиритизму и другим опасным вещам. Я предвидел, что на меня посыпятся вопросы, взятая моя история из действительности или выдумана, считаю ли я такие случаи возможными вообще, — и я очутился бы перед неприятной перспективой прослыть, в зависимости от моего ответа, оккультистом или мошенником. Ввиду этого я, в конце концов, предпочел изложить историю моей ночной встречи в таком виде, в каком она действительно произошла, с риском, что многие читатели все-таки откажутся поверить ее правдоподобности, хотя бы в силу того широко распространенного недоверия, какое питают у нас к поэтам с меньшим, во всяком случае, основанием, чем к другим людям.

Марк Твен

**ВОЗЛЮБЛЕННАЯ
ИЗ СТРАНЫ СНОВ**

Впервые мы встретились с ней, когда мне было 17 лет, а ей 15. Это было во сне. Нет, мы не встретились с ней; я нагнал ее. Это произошло в деревне на Миссури, где я никогда до сих пор не бывал. По существу говоря, я и теперь там не был, ибо находился на Атлантическом побережье, на расстоянии 1000 или даже 1200 миль. Все это случилось внезапно, без какой-либо подготовки, — именно так, как всегда бывает во сне.

Вот я перехожу деревянный мост с деревянными перилами, а вот и она, в пяти шагах от меня. За полсекунды до того никого из нас на мосту не было. Здесь — конец деревни, которая осталась позади нас. Последний дом — кузница. Сзади слышится мирный и добрый стук молота, — звук, всегда кажущийся отдаленным и всегда окрашенный настроением одиночества и чувством тихого сожаления о чем-то невыясненном. Вперед убегает извилистая проселочная дорога; по одну сторону — лес, а по другую — невысокая изгородь. На верхушке дерева сидит трясогузка, а навстречу к ней торопится белка, изогнувшая хвост наподобие пастушеского посоха. За изгородью тянется овсяное поле. Далеко-далеко стоит фермер без пиджака и в соломенной шляпе. Никакого другого признака жизни. Повсюду — воскресная тишина.

Я помню все, — и девушку, и ее походку, и ее наряд. В первый момент я был на расстоянии пяти шагов позади нее; в следующий момент я уже был рядом с ней, причем не сделал ни единого шага. Я пренебрег пространством, отметил это про себя, но без всякого удивления. Мне лично это показалось вполне естественным делом.

Я рядом с ней. Я обнимаю ее талию и крепко прижимаю девушку к себе, ибо люблю ее. И хотя до сих пор я не знал ее, я считаю свое поведение естественным и правильным, — и на этот счет у меня нет ровно никаких сомнений. Она же не проявляет ни удивления, ни огорчения, ни недовольства; в свою очередь, она обнимает меня и с выражением радостного приветствия подымает ко мне свою голову. Я слегка наклоняюсь, чтобы поцеловать ее, и она принимает мой поцелуй так, словно ждала его, — словно мой

порыв она находит естественным и для себя желанным. Привязанность, которую я вдруг почувствовал к ней и которую она, очевидно, чувствует ко мне, — вполне понятный факт. Другое дело — свойство этой привязанности. Это не привязанность брата к сестре, — нет, она теснее этого, ласковее, нежнее и почтительнее. С другой стороны, это — не привязанность влюбленных, ибо наша привязанность лишена пыла и страсти. Наше чувство — нечто среднее между этими двумя чувствами, но оно красивее их обоих, оно очаровательнее и дает больше радости и удовлетворения. Такое чувство, такое странное и чудесное чувство мы испытываем лишь во сне, когда нам кажется, что мы любим кого-то. Такое же чувство могут пережить лишь дети.

Мы идем дальше, через мост, вдоль по дороге и болтаем, как старые, добрые друзья. Она называет меня Георгом, и это кажется мне нормальным, хотя на самом деле меня не зовут Георгом. Я называю ее Алисой, и она не поправляет меня, хотя, без сомнения, это — не ее имя. Все, что уже произошло и происходит, кажется нам обоим очень естественным и последовательным.

Я как-то прошептал:

— Какая прелестная, нежная ручка!

И она молча, с благодарным выражением в глазах вложила свою ручку в мою руку, желая, чтобы я лучше разглядел ее. Я сделал это и поразился маленьким размером руки, ее бархатистой кожей, ее нежным переливчатым цветом, а затем — поцеловал ее. Она, не проронив ни слова, подняла руку к своим губам и поцеловала ее в то же место.

На повороте дороги, в полумили расстояния стоит избушка. Мы входим в избушку, видим накрытый стол и на нем дымящегося жареного индюка, ржаной хлеб, бобы и разные другие кушанья. Видим и кошку, свернувшуюся клубком и спящую на стуле с соломенным сидением, у камина. Никого больше в избушке нет. Пусто и тихо.

Она заявляет мне, что на секунду заглянет в соседнюю комнату, и просит меня подождать ее. Я сажусь, а она уходит за дверь, которая с шумом захлопывается за ней. Я жду, жду, затем встаю и, не в состоянии дольше выносить оди-

ночества, иду вслед за девушкой. Выхожу за дверь и попадаю на какое-то странное кладбище со множеством могил и памятников, простирающихся далеко во все стороны и окрашенных алыми и золотыми лучами заходящего солнца.

Я оглядываюсь и вижу, что избушка исчезла. Я бросаюсь во все стороны, туда и сюда, бегу по рядам меж могил и зову Алису.

Вот уже опустилась ночь на землю, а я никак не могу найти пути. В глубокой горести от потерн я просыпаюсь, — просыпаюсь на своей постели в Филадельфии. Мне — не 17 лет, а 19.

* * *

Я нахожу ее 10 лет спустя, в другом сне. Мне снова 17 лет, а ей все еще 15. Я нахожусь в сумеречных дебрях магнолийных лесов на расстоянии нескольких миль от Надшеца, на Миссисипи. Стою на лужайке, густо поросшей травой. Деревья, точно снегом, осыпаны крупными цветами, а воздух насыщен их пряным и тяжелым ароматом. Местность расположена на возвышенности, и сквозь просветы в лесу на небольшом протяжении можно видеть блестящую грудь реки. Я уже сижу на траве, погруженный в раздумье.

Вдруг мою шею обвивает чья-то рука, и я вижу Алису, сидящую рядом со мной и пристально глядящую на меня. Во мне встает невыразимая благодарность и чувство глубокого, великого счастья. При всем том я ничему не удивляюсь. Не ощущаю того, что миновал большой промежуток времени. С тех пор прошло 10 лет, но эти 10 лет едва ли значат больше, чем один день, чем крохотная частица этого дня. Мы ласкаем друг друга, мы нежимся, мы радуемся и болтаем, ни единым словом не касаясь нашей разлуки. Это вполне естественно, ибо мы оба не знаем, что существует такая разлука, которую можно было бы измерить часами или годами.

Она называет меня Джеком, а я называю ее Еленой. Это — правильные и точные имена. Возможно, что ни один из нас и не подозревает, что мы когда либо назывались иначе. Возможно еще, что мы подозреваем это, но не придаем ему какого-нибудь значения.

Она была прекрасна 10 лет тому назад; она так же прекрасна и теперь. Она юна, очаровательна, и в глазах ее светится та же наивность. Прежде у нее были голубые глаза и волосы, как расплавленное золото; теперь у нее темно-карие глаза и черные волосы. Я заметил эту разницу, но она не вызвала во мне представления о каком-либо изменении. Для меня она осталась той же девушкой, что и прежде. Я ни разу не подумал о том, чтобы спросить: что случилось с избушкой? Сомневаюсь, чтобы я помнил избушку. Мы снова встретились с ней в простом, разумном и прекрасном мире, где все происходящее — нормально и естественно. Ничто в нас не порождало удивления, ничто не требовало пояснения. Все было понятно.

Мы прекрасно проводили время и были похожи на двух невинных, всем довольных детей.

На Елене летняя шляпка. Она вскоре снимает ее и говорит: «Она мешала; теперь тебе будет удобнее целовать меня». Это кажется мне проявлением вежливости и мудрости, — ничем больше. Вполне нормально, что она подумала так и сделала так. Мы уходим дальше, странствуем по лесам и приходим к прозрачному мелководному потоку, шириной аршина в три. Она говорит:

— Я боюсь замочить свои ножки. Дорогой, перенеси меня.

Я беру ее на руки и даю ей подержать мою шляпу, — делаю это для того, чтобы не замочить собственных ног. Не знаю, впрочем, почему моя шляпа в руках Елены должна произвести такое действие. Я перехожу поток и заявляю, что намерен и дальше нести ее, потому что это так приятно. Она говорит, что и ей это приятно, и жалеет о том, что мы раньше не подумали об этом. Мне страшно жаль, что мы так долго шли пешком, и я с сожалением говорю об этом, точно о чем-то потерянном, — точно о чем-то, что никогда



больше не может быть возвращено. Она огорчена и говорит, что должен быть какой-нибудь способ помочь горю, задумывается, затем подымает на меня свои сияющие глаза и горделиво произносит:

— Отнеси меня назад и начни снова.

В данное время я нахожу ее совет самым обыкновенным, но тогда он показался мне гениальным. И тогда же я

подумал, что нет на свете другой такой головки, которая могла бы с подобной быстротой и удачей разрешить столь трудную задачу. Я сказал ей это и заметил, что мои слова ей были очень приятны. Она сказала: «Я рада тому, что все это прошло: таким образом ты мог убедиться в том, какая я способная». Подумав немного, она еще добавила, что все это «очень атрейно». Надо думать, что это выражение кое-что означало, — только не знаю, что именно. Мне лично показалось, что после этого выражении ничего больше не остается сказать. Оно ответило на все, оно пояснило все, и я долго восторгался необыкновенной красотой и блестящим содержанием фразы. Я преисполнился уважения к поразительному уму, создавшему эту фразу. Теперь, в данный миг, я — не столь высокого мнения о фразе. И это — крайне замечательный факт, что многие слова Страны Снов звучат гораздо полнее и содержательнее там, чем здесь. Неоднократно моя возлюбленная изрекала драгоценнейшие, ярко-блещущие слова, которые тотчас же превращались в пепел, как только я пытался запечатлеть их в своей записной книжке после утреннего кофе.

Я отнес ее обратно и снова перешел поток. В продолжение всего долгого полдня я не спускал ее с рук; так мы прошли много миль, и никому из нас не пришло на ум, что есть нечто замечательное в том, что такой мальчик, как, я, в состоянии несколько часов подряд носить на руках свою милую и не чувствовать при этом ни усталости, ни потребности в отдыхе. Много чудесного и прекрасного узнал я во сне, но не было сна чудеснее и прекраснее этого.

С приходом вечерних сумерек мы достигли большого дома, стоящего среди плантаций. Это был ее дом. Я внес ее туда и узнал ее семью; семья узнала меня, несмотря на то, что никогда до сих пор мы не встречались и ничего не знали друг о друге. Мать с озабоченным видом спросила меня, сколько получится при умножении 12 на 14; я мигом ответил: 135, а она торопливо записала эту цифру на клочке бумаги, заявляя, что привыкла не доверяться своей памяти. Ее муж предложил мне стул и сказал, что Елена спит и что всего лучше будет не будить ее. Он довольно нежно присло-

нил меня к платяному шкафу и выразил уверенность, что в таком положении мне будет гораздо удобнее. Затем вошел негр, подобострастно поклонился мне и, не выпуская из рук мягкой войлочной шляпы, спросил меня: не желаю ли я, чтобы с меня сняли мерку. Этот вопрос, не удивив меня, все же смутил и беспокоил меня. Я сказал, что по этому поводу хотел бы с кем-нибудь посоветоваться. Негр только направился к двери, желая позвать советчиков, как вдруг он, и вся семья моей возлюбленной, и комната, и все в комнате стали тускнеть, — и через несколько мгновений воцарился густой, непроглядный мрак. Но тотчас же в комнату ворвались потоки лунного света и волны холодного ветра, и я увидел, что перехожу через замерзшее озеро, и что руки мои пусты. Мучительное горе, окатившее меня ледяной волной, пробудило меня, и я увидел себя за своим столом, в редакции, в Сан-Франциско. Взглянув на часы, я определил, что проспал менее двух минут. Важнее было то, что мне было не 17 лет, а 29.

* * *

Это было в 1864 году. В течение последующих двух лет у меня были мгновенные видения, в которых участвовала моя возлюбленная из Страны Снов. Эти видения отмечены в моей записной книжке под правильными датами, но не сопровождаются ни разговорами, ни какими-либо подробностями. Это служит для меня достаточным доказательством того, что добавлять было нечего. В обоих этих случаях имели место: неожиданная встреча, жадное стремление друг к другу и мгновенное исчезновение, после которого весь мир казался мне опустошенным и лишенным какой-либо ценности.

Я провел в 1866 году несколько месяцев на Гавайских островах. В октябре того же года я должен был прочитать свою первую лекцию в Сан-Франциско. В январе 1867 года я приехал в Нью-Йорк, и как раз в это время кончился 31-й

год моей жизни. И в этом году я снова увидел мою платоническую возлюбленную. Я увидел себя на сцене Оперного театра в Сан-Франциско. Все вокруг меня замерло в ожидании моих первых слов. Я произнес несколько слов и, похолодев от ужаса, остановился, ибо заметил, что у меня нет ни текста, ни темы, — нет ничего. Я пытался еще в течение некоторого времени выдавить из себя несколько слов, сделал даже жалкую попытку сострить, но присутствующие не откликнулись на это. Наступила мучительная пауза, после которой я сделал другую попытку, столь же неудачную. Кое-где слышался смех, но большинство присутствующих безмолвствовали, и лица хранили суровое, глубоко оскорбительное выражение. Я сгорал от стыда и в отчаянии хотел было сыграть на струнах их великодушия и жалости. Я начал подобострастно извиняться, грубо льстить, молить о прощении и взывать к жалости. Это было слишком, и все присутствующие разразились негодующими криками, свистом, шиканьем и мяуканьем. Вдруг все поднялись с мест и волной бросились к дверям. Я стоял оглушенный, глядя на толпу и думая о том, что завтра заговорит обо мне весь город и что я не посмею после этого показаться на улицах. Когда зрительный зал опустел и затих, я уселся на единственный стул, стоящий на сцене, и опустил голову, боясь смотреть вперед себя. Вдруг над моим ухом слышался нежный, знакомый голос:

— Роберт!

Я ответил:

— Агнесса!

Спустя минуту мы бродили уже по цветущей долине Яо, находящейся на Гавайских островах. Без всяких объяснений я признал, что Роберт — не мое имя, но просто ласкательное название, самое обыкновенное прилагательное, равнозначащее понятию «дорогой». Мы оба знали еще, что Агнесса — не ее имя, а такое же ласкательное название, обыкновенное прилагательное, смысл которого не может быть точно передан на каком-либо ином языке, кроме языка снов. Это слово было также равносильно понятию «дорогой», но словарь снов придавал ему более прекрасное и содержа-

тельное значение. Мы оба не знали, почему эти слова хранят такое значение. Мы употребляли слова, не существующие на каком-либо знакомом нам языке, и рассчитывали на то, что они будут должным образом поняты. И они, действительно, были поняты должным образом. В моих записных книжках имеются письма от возлюбленной из Страны Снов. Эти письма написаны на каком-то неизвестном языке, по всей вероятности, на языке снов. Там же приложены и переводы. Я желал бы овладеть этим языком и тогда мог бы со всеми разговаривать стенографически. Вот одно из этих писем, — все целиком:

«Ракс ога тал».

Перевод:

«Получив это письмо, ты вспомнишь обо мне, и подумаешь о той, кто жаждет видеть тебя, кто желает коснуться твоей руки и получить таким образом счастье и радость».

Мы долго шли по сказочной долине, собирали прекрасные цветы имбирного растения, говорили ласковые слова, завязывали и перевязывали друг другу банты и галстуки и, наконец, уселись в тени дерева. Мы поднялись глазами вверх к покрытым плющом оградкам, затем ушли еще выше, еще выше, еще выше, — туда, где, подобно призрачным островкам, носились в небе полосы белого тумана. Затем мы опустились на землю и продолжали болтать.

— Как все тихо и нежно! Как лес вокруг благоухает и ласкает... Мне кажется, что я могла бы здесь сидеть годами и никогда не устать от этого. Однажды я была здесь. Но тогда здесь не было острова.

— А что же было здесь?

— Суфа!

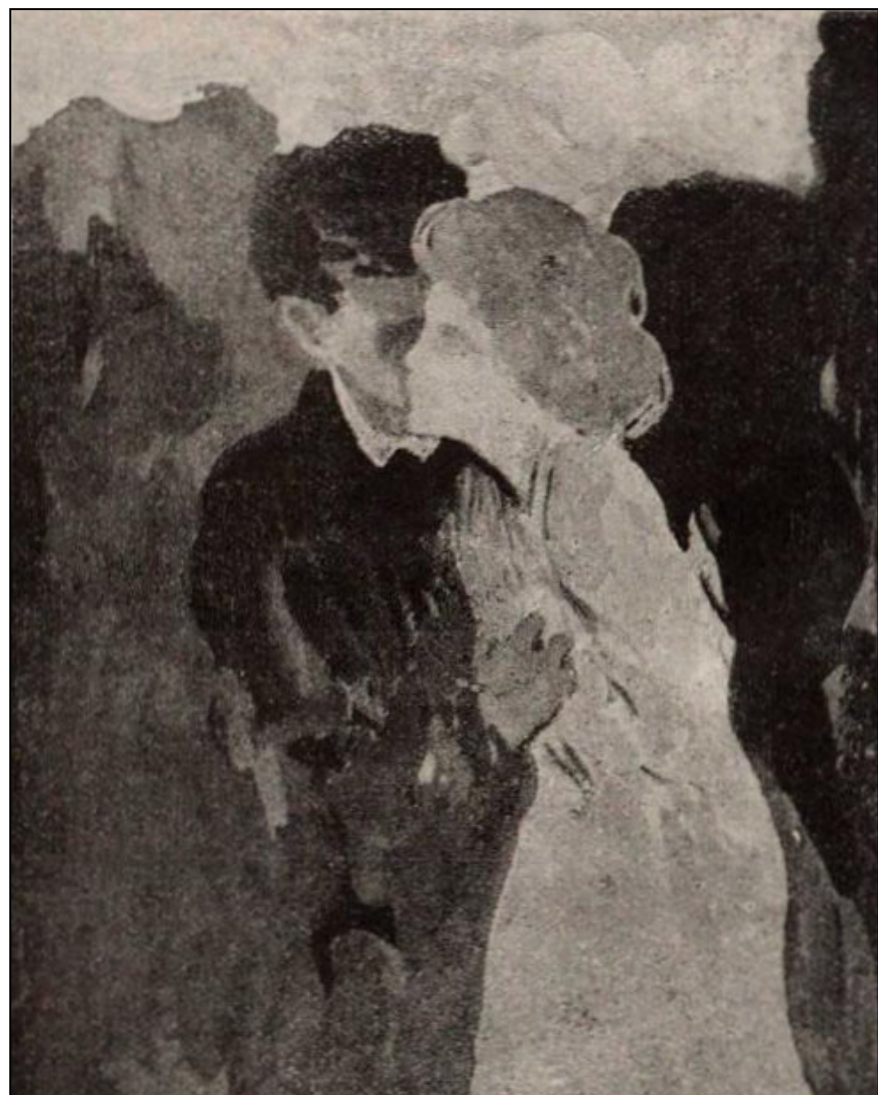
Тогда я понял значение этого слова, — теперь же не знаю его.

— А как выглядели люди на нем?

— Тогда еще не было людей на свете.

— А вот видишь, Агнесса, там стоит Галеакала, потухший вулкан. Там, в конце долины... Как ты думаешь, он стоял здесь в то время, как жив был твой друг?

— Да, был...



- А ты много путешествуешь?
- Очень много. Всего больше среди звезд.
- Там красиво?

Она произнесла несколько слов на языке снов, и эти слова должны были значить: «Ты поймешь это, когда попадешь туда вместе со мной»!

Вдруг на ее плечо упал альбатрос, — я протянул руку и поймал его. Но он вдруг стал терять перья и превратился в котенка. Затем тело котенка стало сокращаться в шар, вытянуло длинные полосатые ноги и предстало уже в образе тарантула. Я хотел схватить его, но он тотчас же обратился в морскую звезду, выскользнувшую из моих рук. Агнесса сказала мне, что не стоит вообще пытаться удержать что-либо: все вещи на земле отличаются крайней неустойчивостью.

Пока мы сидели так в долине Яо и болтали, к нам подошел канакиец, сморщенный, согнутый и беловолосый. Он заговорил со мной на своем родном языке, и мы понимали его без какого-либо труда. Даже отвечали ему на его же наречии. Он показал нам свое очень странное ружье и сказал, что оно бьет на расстояние 100 миль, — после того зарядил его обыкновенной стрелой, которая унеслась в небо и там исчезла. Канакиец пошел своей дорогой, говоря, что через полчаса стрела вернется и упадет возле нас, причем войдет на несколько ярдов в землю.

Я справился с часами, и мы устроились в чудесной тени деревьев. Вдруг послышался шипящий звук, который стал все усиливаться. От неведомого толчка Агнесса упала на землю и издала глухой стон. Она произнесла с большим трудом:

— Прими меня в свои объятия... Стрела пронзила меня... Я боюсь... я умираю... Как все потемнело. Где ты? Я не вижу тебя... Не бросай меня... Я никогда не оставила бы тебя в беде...

Затем она перестала дышать и превратилась в ком глины.

Место действия изменилось в одно мгновение. Я уже бодрствовал и вместе с приятелем переходил через Бонд-

стрит в Нью-Йорке. Падал густой снег, мы разговаривали. и не было заметно, что в нашем разговоре произошли какие-нибудь паузы. Сомневаюсь, чтобы во время сна я сделал больше двух шагов.

Через четверть часа я уже был дома, разделся и снова заснул. Все дальнейшее произошло во сне. Я очутился в Афинах, в городе, до сих пор невиданном мной. Но я узнал Парфенон по множеству изображений, имеющихсся в моем кабинете. Я прошел мимо него и поднялся по поросшему травой холму, ведущему к огромному зданию, похожему на средневековый замок и построенному из красной терракоты. Был полдень, но я никого не встретил на своем пути. Я вошел в замок и вступил в первую комнату, очень большую и светлую, со стенами из полированного, богато окрашенного оникса. В комнате, кроме меня, присутствовало еще одно лицо, Агнесса. Увидя ее, я нисколько не удивился, но очень обрадовался. Она была в обыкновенном греческом костюме, и ее волосы и глаза сильно отличались по цвету от волос и глаз, которые я заметил на Гавайских островах, — полчасика назад. Но для меня она была все той же чудесной 15-летней девочкой. Она сидела на троне из слоновой кости и вязала что-то. Я уселся подле нее, и мы стали болтать, как всегда. Я вспомнил про ее смерть, но теперь уже не чувствовал ни боли, ни горечи. Я был лишь бесконечно счастлив, что снова сижу рядом с ней, и даже не подумал спросить ее про ее недавнюю смерть. Очень возможно, что она частенько умирала и не придавала этому факту какого-либо значения. Во всяком случае, мы не сочли нужным сделать это темой для разговора.

В то время, как мы так мило беседовали с Агнессой, в комнату пошли несколько представительных греков и прошли мимо нас с весьма вежливым приветствием. Среди них я узнал Сократа, — узнал его по носу.

Спустя минуту, исчезли и Афины и Агнесса. Я опять очутился у себя в Нью-Йорке и протягивал руку к записной книжке.

Я утверждаю, что в снах мы действительно совершаем те путешествия, которые как будто совершаем, — мы дейст-

вительно видим то, что как будто видим: людей, лошадей, кошек, собак, птиц, китов и так далее. Все это реальные существа, а не химеры. Живые создания, а не тени или призраки. Они бессмертны и не знают, что такое тлен. Они идут туда, куда хотят, уносятся повсюду, куда желают, и не останавливаются даже пред тем, чтобы подняться на солнце и выше....

Однако, моя повесть затянулась, и ее пора кончить. За сорок четыре года знакомства с моей возлюбленной из Страны Снов я видел ее великое множество раз, причем каждый раз у нее менялись глаза и волосы. Ей всегда было 15 лет, а мне — 17 лет, и я ни разу не почувствовал себя старше хотя бы на один день.

Я видел ее неделю назад — только одну минутку. Отправляясь спать, я подсчитал, что мне 63 года, но теперь мне снова было 17 лет, а ей — 15. Мы находились в Индии. Неподалеку вырисовывался Бомбей. Рядом же стоял Виндзорский замок, у которого берет начало Темза. Я сказал:

— Тут не может быть двух мнений: Англия — самая прекрасная страна на свете.

— Это потому, что она находится на краю...

И затем она исчезла, что было к лучшему, ибо после этих прекрасных слов она ничего больше не могла бы прибавить.

Я почему-то опять вспоминаю Мауи и то время, когда на моих глазах, пронзенная стрелой, умирала моя возлюбленная. Я тогда сильно страдал, — так сильно, как никогда в реальной жизни. Ибо во сне все наши переживания гораздо глубже и резче, чем в состоянии бодрствования.

Возможно, что вместе со смертью мы сбросим с себя ту дешевую жалкую оболочку, в которой щеголяем в сей жизни, и в Страну Снов явимся в настоящих, — пышных и лучезарных — одеждах.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящую антологию, продолжающую публикацию раритетных текстов из архива издательства *Salamandra P.V.V.*, вошли произведения западных писателей второй половины XIX – первых десятилетий XX века.

Все произведения публикуются по первоизданиям. Безоговорочно исправлялись очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам. Все иллюстрации взяты из оригинальных изданий. Источники текстов указаны ниже. Допущенные в переводах сокращения нами не оговаривались.

В оформлении обложки использована работа З. Бексинского.

Издательство выражает благодарность А. Степанову за помощь в получении ряда текстов.

[Б. п.]. Соперники. Пер. с нем. Р. Б. // *Всемирная панорама*. 1911. № 110/21.

[Б. п.]. Мертвый глетчер. Пер. с англ. М. Даниэль // *Журнал-копейка*. 1917. № 419/5, январь.

Е. Ваттерле. Эльзасское предание // *Синий журнал*. 1915. № 27, 4 июля.

М. Ренар. Конец бала. Пер. М. В. // *Всемирная панорама*. 1916. № 390/41, под загл. «Трагический конец бала». Нами опущено произвольное разделение текста на мелкие главки в русском пер.

Р. Сабатини. Гобеленовая комната. Пер. З. Журавской // *Волны*. 1913. № 22, декабрь, с подзаг. «Рождественский рассказ».

Н. Бриссет. Привидение Хильтонского замка // *Драмы жизни: Мой шофер*. Н. Бриссет. Привидение Хильтонского замка. М., 1909.

А. Фальк. Свидание за гробом. Пер. Р. Маркович // *Всемирная панорама*. 1911. № 94/5, 4 февраля. Публикуется с небольшими сокращениями.

Р. д'Аст. Как умер Жак Коделль // *Синий журнал*. 1913. № 6, 8 февраля.

[Б. п.]. Выходец из могилы. Пер. Л. Э. Дучинского // *Всемирная панорама*. 1913. № 235/42, 18 октября.

[Б. п.]. Привидение // *Журнал-копейка*. 1914. № 278/20, май.

И. Гильд. Общество поставки привидений // *Синий журнал*. 1913. № 19, 10 мая.

Ф. Буте. Привидение // *Синий журнал*. 1916. № 13, 26 марта.

Э. Глин. Тайна привидения. Пер. З. Ж<уравской> // *Всемирная панорама*. 1911. № 140/51, 23 декабря. Ориг. загл. «The Irtonwood Ghost».

[Б. п.]. Призрак // *Журнал-копейка* (М.) 1911. № 13/90.

А. Конан Дойль. Страннее вымысла. Пер. З. Ж<уравской> // *Всемирная панорама*. 1916. № 350/1. Ориг. загл. «Stranger Than Fiction». Илл. Т. Сомерфилда и фот. взяты из публикации в *The Strand Magazine* (1915, декабрь).

Э. Несбит. Дом с привидениями. Пер. З. Журавской // *Волны*. 1913. № 22, декабрь, под псевд. «Э. Бланд». Илл. Г. Симмонса взяты из оригинальной публ. (*The Strand Magazine*. 1913, декабрь).

П. Контамин-Латур. Последний опыт профессора Фабра. Пер. Т. Ш. // *Синий журнал*. 1913. № 34, 23 августа.

Т. Гуд. Тень призрака // *Нива*. 1870. № 9. Ориг. загл. «The Shadow of a Shadow».

Г. фон дер Габеленц. Призраки. Пер. Р. Маркович // Габеленц Г. фон дер. Призраки; Кольцо. СПб., 1911.

Г. фон дер Габеленц. Кольцо. Пер. Р. Маркович // Габеленц Г. фон дер. Призраки; Кольцо. СПб., 1911.

А. Шницлер. Редегонда // *Огонек*. 1912. № 26, 23 июня (6 июля). Ориг. загл. «Das Tagebuch der Redegonda».

М. Твен. Возлюбленная из Страны Снов. Пер. Зин. Львовского // *Синий журнал*. 1913. № 1, 4 января. Ориг. загл. «The Lost Sweet-heart».

Оглавление

[Б. п.]. Соперники	6
[Б. п.]. Мертвый глетчер	11
Е. Ваттерле. Эльзасское предание	14
М. Ренар. Конец бала	21
Р. Сабатини. Гобеленовая комната	34
Н. Бриссет. Привидение Хильтонского замка	48
А. Фальк. Свидание за гробом	85
Р. д'Аст. Как умер Жак Коделль	94
[Б. п.]. Выходец из могилы	101
[Б. п.]. Привидение	109
И. Гильд. Общество Поставки Привидений	115
Ф. Буте. Привидение	124
Э. Глин. Тайна привидения	129
[Б. п.]. Призрак	140
А. Конан Дойль. Страннее вымысла	145
Э. Несбит. Дом с привидениями	156
П. Контамин-Латур. Последний опыт профессора Фабра	175

Т. Гуд. Тень призрака	181
Г. фон дер Габеленц. Призраки	195
Г. фон дер Габеленц. Кольцо	216
А. Шницлер. Редегонда	229
М. Твен. Возлюбленная из Страны Снов	238
П р и м е ч а н и я	252

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.